

Санин

Автор:

Михаил Арцыбашев

Санин

Михаил Петрович Арцыбашев

Роман «Санин» – главная книга писателя – долгое время носил клеймо «порнографического романа», переполошил читающую Россию и стал известным во всем мире. Тонкая, деликатная сфера интимных чувств нашла в Арцыбашеве своего сильного художника. «У Арцыбашева и талант, и содержание», – писал Л. Н. Толстой.

Михаил Арцыбашев

Санин

I

Только это нашел я, что Бог создал человека правым, а люди пустились во многие домыслы.

7.29. Екклезиаст

То, самое важное в жизни, время, когда под влиянием первых столкновений с людьми и природой слагается характер, Владимир Санин прожил вне семьи. Никто не следил за ним, ничья рука не гнула его, и душа этого человека сложилась свободно и своеобразно, как дерево в поле.

Он не был дома много лет и, когда приехал, мать и сестра Лида почти не узнали его: чертами лица, голосом и манерами он изменился мало, но в нем сказывалось что-то новое, незнакомое, что созрело внутри и осветило лицо новым выражением.

Приехал он к вечеру и так спокойно вошел в комнату, как будто вышел из нее пять минут тому назад. В его высокой светловолосой и плечистой фигуре, со спокойным и чуть-чуть, в одних только уголках губ, насмешливым выражением лица, не было заметно ни усталости, ни волнения, и те шумные восторги, с которыми встретили его мать и Лида, как-то сами собой улеглись.

Пока он ел и пил чай, сестра сидела против него и смотрела, не сводя глаз. Она была влюблена в брата, как могут влюбляться только в отсутствующих братьев молодые экзальтированные девушки. Лида всегда представляла себе брата человеком особенным, но особенным именно той особенностью, которая с помощью книг была создана ею самою.

Она хотела видеть в его жизни трагическую борьбу, страдание и одиночество непонятого великого духа.

– Что ты на меня так смотришь? – улыбаясь, спросил ее Санин.

Эта внимательная улыбка, при уходящем в себя взгляде спокойных глаз, была постоянным выражением его лица.

И, странно, эта улыбка, сама по себе красивая и симпатичная, сразу не понравилась Лиде. Она показалась ей самодовольной и ничего не говорящей о страданиях и переживаемой борьбе. Лида промолчала, задумалась и, отведя глаза, стала машинально перелистывать какую-то книгу.

Когда обед кончился, мать ласково и нежно погладила Санина по голове и сказала:

– Ну, расскажи, как ты там жил, что делал?

– Что делал? – переспросил Санин, улыбаясь. – Что ж... пил, ел, спал, иногда работал, иногда ничего не делал...

Сначала казалось, что ему не хочется говорить о себе, но когда мать стала расспрашивать, он, напротив, очень охотно стал рассказывать. Но почему-то чувствовалось, что ему совершенно безразлично, как относятся к его рассказам. Он был мягок и внимателен, но в его отношениях не было интимной, выделяющей из всего мира близости родного человека, и казалось, что эти мягкость и внимательность исходят от него просто, как свет от свечи, одинаково ровно на все.

Они вышли на террасу в сад и сели на ступеньках. Лида примостилась ниже и отдельно и молча прислушивалась к тому, что говорил брат. Неуловимая струйка холода уже прошла в ее сердце. Острым инстинктом молодой женщины она почувствовала, что брат вовсе не то, чем она воображала его, и она стала дичиться и смущаться, как чужого.

Был уже вечер, и мягкая тень спускалась вокруг. Санин закурил папиросу, и легкий запах табаку примешивался к душистому летнему дыханию сада.

Санин рассказывал, как жизнь бросала его из стороны в сторону, как много приходилось ему голодать, бродить, как он принимал рискованное участие в политической борьбе и как бросил это дело, когда оно ему надоело.

Лида чутко прислушивалась и сидела неподвижно, красивая и немного странная, как все красивые девушки в весенних сумерках.

Чем дальше, тем больше и больше выяснялось, что жизнь, рисовавшаяся ей в огненных чертах, в сущности, была простой и обыкновенной. Что-то особенное звучало в ней, но что – Лида не могла уловить. А так выходило очень просто, скучно и, как показалось Лиде, даже банально. Жил он где придется, делал что придется, то работал, то слонялся без цели, по-видимому, любил пить и много знал женщин. За этой жизнью вовсе не чудился мрачный и зловещий рок, которого хотелось мечтательной женской душе Лиды. Общей идеи в его жизни не было, никого он не ненавидел и ни за кого не страдал.

Срывались такие слова, которые почему-то казались Лиде просто некрасивыми. Так мельком Санин упомянул, что одно время он так бедствовал и обносился, что ему приходилось самому починять себе брюки.

– Да ты разве умеешь шить? – с обидным недоумением невольно отозвалась Лида, ей показалось это некрасивым, не по-мужски.

– Не умел раньше, а как пришлось, так и выучился, – с улыбкой ответил Санин, догадавшись о том, что чувствовала Лида.

Девушка слегка пожала плечами и замолчала, неподвижно глядя в сад. Она почувствовала себя так, точно, проснувшись утром с мечтой о солнце, увидела небо серым и холодным.

Мать тоже чувствовала что-то тягостное. Ее больно кольнуло, что сын не занимал в обществе того почетного места, которое должен был бы занять ее сын. Она начала говорить, что дальше так жить нельзя, что надо хоть теперь устроиться хоть сколько-нибудь прилично. Сначала она говорила осторожно, боясь оскорбить сына, но когда заметила, что он слушает невнимательно, сейчас же раздражилась и стала настаивать упрямо, с тупым старушечьим озлоблением, точно сын нарочно поддразнивал ее. Санин не удивился и не рассердился, он даже как будто и слышал ее плохо. Он смотрел на нее ласковыми безразличными глазами и молчал. Только на вопрос: «Да как же ты жить будешь?» – ответил, улыбаясь: «Как-нибудь!»

И по его спокойному твердому голосу и светлым немигающим глазам почувствовалось, что эти два для нее ничего не значащие слова для него имеют всеобъемлющий, определенный глубокий смысл.

Марья Ивановна вздохнула, помолчала и печально сказала:

– Ну твое дело... Ты уже не маленький... Вы бы пошли по саду прогулялись, теперь там хорошо.

– Пойдем, Лида, и в самом деле... Покажи мне сад, – сказал Санин сестре, – я уже и позабыл, как там.

Лида очнулась от задумчивости, тоже вздохнула и встала. Они пошли рядом, по аллее, в сырую и уже темную зеленую глубину.

Дом Саниных стоял на самой главной улице города, но город был маленький, и сад выходил прямо к реке, за которой уже начинались поля. Дом был старый, барский, с задумчивыми облупившимися колоннами и обширной террасой, а сад большой, заросший и темный, как темно-зеленая туча, прикипая к земле. По вечерам в саду было жутко, и тогда казалось, что там, в чаще и на пыльных чердаках старого дома, бродит какой-то доживающий, старый и унылый дух.

В верхнем этаже дома пустовали обширные, потемневшие залы и гостиные, во всем саду была прочищена только одна неширокая аллея, украшенная лишь сухими веточками да растоптанными лягушками, и вся теперешняя жизнь, скромная и тихая, ютилась в одном уголке. Там, возле самого дома, желтел посыпанный песок, пестрели кудрявые клумбы, осыпанные разноцветными цветами, стоял зеленый деревянный стол, на котором в хорошую погоду летом пили чай и обедали, и весь этот маленький уголок теплел простою мирной жизнью, не сливаясь с угрюмой красотой обширного запустелого места, предоставленного естественному разрушению и неизбежному исчезновению.

Когда дом скрылся в зелени и вокруг Лиды и Санина встали одни молчаливые, неподвижные и задумчивые, как живые существа, старые деревья, Санин вдруг обнял Лиду за талию и странным, не то ласковым, не то зловещим голосом сказал:

– А ты красавицей выросла!.. Счастлив будет тот мужчина, которого ты первого полюбишь...

Горячая струйка пробежала от его мускулистой, точно железной руки по гибкому и нежному телу Лиды. Она смутилась, вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась, точно почувствовав приближение невидимого зверя.

Они уже вышли на самый берег реки, где пахло сыростью и водой, задумчиво раскачивалась островерхая осока и открывался другой берег, с далекими потемневшими полями, глубоким теплым небом и бледными искрами первых звезд.

Санин отошел от Лиды, зачем-то взялся обеими руками за толстый сухой сук дерева и, с треском отломив его, бросил в воду. Всколыхнулись и побежали во все стороны плавные круги, и, точно приветствуя Санина как своего, торопливо закланялась прибережная осока.

Было около шести часов. Солнце светило ярко, но от сада уже опять надвигалась мягкая зеленоватая тень. Свет, тишина и тепло чутко стояли в воздухе. Марья Ивановна варила варенье, и под зеленой липой вкусно и крепко пахло кипящим сахаром и малиной.

Санин с самого утра возился над клумбами, стараясь поднять поникшие от зноя и пыли цветы.

– Ты бы бурьян раньше повыдергал, – посоветовала Марья Ивановна, поглядывая на него сквозь синеватую дрожащую дымку жаровни. – Ты прикажи Груньке, она тебе и сделает...

Санин поднял потное и веселое лицо.

– Зачем, – сказал он, встряхивая волосами, прилипшими ко лбу, – пусть себе растет, я всякую зелень люблю.

– Чудак ты! – добродушно пожимая плечами, возразила мать, но почему-то ей было очень приятно то, что он сказал.

– Сами вы все чудаки! – ответил Санин тоном полного убеждения, потом пошел в дом мыть руки, вернулся и сел у стола, удобно и спокойно расположившись в плетеном кресле.

Ему было хорошо, легко и радостно. Зелень, солнце, голубое небо таким ярким лучом входили в его душу, что вся она раскрывалась им навстречу в ощущении полного счастья. Большие города, с их торопливым шумом и суетливой цепкой жизнью, опротивели ему. Вокруг были солнце и свобода, а будущее не заботило его, потому что он готов был принять от жизни все, что она могла дать ему.

Санин жмурился и потягивался, с глубоким наслаждением вытягивая и напрягая свои здоровые, сильные мускулы.

Веяло тихой и мягкой прохладой, и казалось, что весь сад вздыхает кротко и глубоко. Воробьи чирикали где-то, и близко и далеко, воровато и торопливо переговариваясь о своей маленькой, страшно важной, но никому не понятной жизни; а пестрый фокстерьер Милль, высунув красный язык и подняв одно ухо, снисходительно слушал их из гущи свежей зеленой травы. Листья тихо шелестели над головой, а их круглые тени беззвучно шевелились на ровном песке дорожки.

Марью Ивановну болезненно раздражало спокойствие сына. Как и всех своих детей, она очень любила его, но именно потому у нее кипело сердце и ей хотелось возмутить его, задеть его самолюбие, оскорбить – лишь бы заставить придать цену ее словам и ее понятию о жизни. Каждое мгновение своего долгого существования она, как муравей, зарывшийся в песке, неустанно копошилась над созданием хрупкого, рассыпчатого здания своего домашнего благосостояния. Это скучное, длинное и однообразное здание, похожее и на казарму и на больницу, составлялось из мельчайших кирпичиков, которые ей, как бездарному архитектору, казались украшением жизни, а на самом деле то стесняли, то раздражали, то пугали и всегда заботили ее до тоски. Но все-таки она думала, что иначе жить нельзя.

– Ну что ж... так и дальше будет? – спросила она, поджав губы и притворно внимательно глядя в таз с вареньем.

– Как дальше? – спросил Санин и чихнул.

Марье Ивановне показалось, что и чихнул он нарочно, чтобы ее обидеть, и хотя это было очевидно нелепо, она обиделась и надулась.

– А хорошо у вас тут! – мечтательно сказал Санин.

– Недурно... – считая нужным сердиться, сдержанно ответила Марья Ивановна, но ей было очень приятно, что сын похвалил дом и сад, с которыми она сжилась, как с родными милыми существами.

Санин посмотрел на нее и задумчиво сказал:

– А если бы вы не приставали ко мне со всякими пустяками, то еще лучше было бы.

Незлобивый голос, которым это было сказано, противоречил обидным словам, и Марья Ивановна не знала, сердиться ей или смеяться.

– Как посмотрю я на тебя, – с досадой сказала она, – и в детстве ты был какой-то ненормальный, а теперь...

– А теперь? – спросил Санин так весело, точно ожидал услышать что-то очень приятное и интересное.

– А теперь и совсем хорош! – колко ответила Марья Ивановна и махнула ложкой.

– Ну тем и лучше! – усмехнулся Санин и, помолчав, прибавил: – А вот и Новиков идет.

От дома шел высокий, красивый и белокурый человек. Его красная шелковая рубаша, плотно обтягивающая немного пухлое, но рослое и красивое тело, ярко вспыхивала красными огоньками под солнечными пятнами, а голубые глаза смотрели ласково и лениво.

– А вы все ссоритесь! – таким же ленивым и ласковым голосом протянул он еще издали. – И о чем, ей-богу!..

– Да вот, мама находит, что мне больше шел бы греческий нос, а я нахожу, что какой есть, и слава Богу!

Санин сбоку посмотрел на свой нос, засмеялся и пожал пухлую широкую ладонь Новикова.

– Ну, еще что! – с досадой отозвалась Марья Ивановна.

Новиков громко и весело засмеялся, и круглое мягкое эхо добродушно захохотало в зеленой чаще, точно кто-то добрый и тихий радовался там его веселью.

– Ну, я са-ам знаю... все о твоей судьбе хлопоты идут!

- Вот, поди ж ты! - с комическим недоумением сказал Санин.

- Ну, так тебе и надо!

- Эге! - вскрикнул Санин. - Если вы за меня в два голоса приметесь, так я и сбежать могу!

- Я сама, кажется, скоро от вас сбегу! - с неожиданной и, больше всего для нее самой, неприятной злобой проговорила Марья Ивановна, рывком дернула таз с жаровни и пошла в дом, не глядя ни на кого. Пестрый Милль выскочил из травы, поднял оба уха и вопросительно посмотрел ей вслед. Потом почесал носом переднюю лапу, опять внимательно посмотрел на дом и побежал куда-то в глубь сада по своим делам.

- Папиросы у тебя есть? - спросил Санин, очень довольный тем, что мать ушла.

Новиков достал портсигар, лениво изогнув назад свое крупное спокойное тело.

- Напрасно ты ее дразнишь, - с ласковой укоризною протянул он, - женщина она старая...

- Чем я ее дразню?

- Да вот...

- Что ж «вот»?.. Она сама ко мне лезет. Я, брат, никогда от людей ничего не требовал, пусть и они оставят меня в покое...

Они помолчали.

- Ну, как живешь, доктор? - спросил Санин, внимательно следя за изящно-прихотливыми узорами табачного дыма, нежно свивавшегося в чистом воздухе над его головой.

Новиков, думая о другом, ответил не сразу.

- Плохо.

- Что так?

- Да так, вообще... Скучно. Городишко осточертел по самое горло, делать нечего.

- Это тебе-то делать нечего? А сам жаловался, что вздохнуть некогда.

- Я не о том говорю... Нельзя же вечно только лечить да лечить. Есть же и другая жизнь.

- А кто тебе мешает жить и другой жизнью?

- Ну, это вопрос сложный!

- Чем же сложный?.. И чего тебе еще нужно: человек ты молодой, красивый, здоровый.

- Этого, оказывается, мало! - с добродушной иронией возразил Новиков.

- Как тебе сказать, - улыбнулся Санин, - этого, пожалуй, даже много...

- А мне не хватает! - засмеялся Новиков; по смеху его было слышно, что мнение Санина о его красоте, силе и здоровье было ему приятно и что он слегка смущен, точно барышня на смотринах.

- Тебе не хватает одного, - задумчиво сказал Санин.

- Чего же?

- Взгляда настоящего на жизнь... Ты вот тяготишься однообразием своей жизни, а позови тебя кто-нибудь бросить все и пойти куда глаза глядят, ты испугаешься.

- Куда? В босяки? Хм!..

- А хоть бы и в босяки!.. Знаешь, смотрю я на тебя и думаю: вот человек, который при случае способен за какую-нибудь конституцию в Российской империи сесть на всю жизнь в Шлиссельбург, лишиться всяких прав, свободы, всего... А казалось бы, что ему конституция?.. А когда речь идет о том, чтобы перевернуть надоевшую собственную жизнь и пойти искать интереса и смысла на сторону, сейчас же у него возникает вопрос: а чем жить, а не пропаду ли я, здоровый и сильный человек, если лишусь своего жалованья, а с ним вместе сливок к утреннему чаю, шелковой рубашки и воротничков?.. Странно, ей-богу!

- Ничего тут странного нет... Там дело идейное, а тут...

- Что тут?

- Да... как бы это выразиться... - Новиков пощелкал пальцами.

- Вот видишь, как ты рассуждаешь! - перебил Санин. - Сейчас у тебя эти подразделения!.. Ведь не поверю же я, что тебя больше гложет тоска по конституции, чем по смыслу и интересу в собственной твоей жизни, а ты...

- Ну это еще вопрос. Может, и больше! Санин с досадой махнул рукой.

- Оставь, пожалуйста! Если тебе будут резать палец, тебе будет больнее, чем если палец будут резать у любого другого русского обывателя... Это факт!

- Или цинизм! - постарался Новиков сказать язвительно, но вышло только смешливо.

- Пусть так. Но это правда. И теперь, хотя не только в России, но и во многих странах света нет не только конституции, но даже и намек на нее, ты тоскуешь потому, что твоя собственная жизнь тебя не ласкает, а вовсе не по конституции! И если будешь говорить другое, то соврешь. И знаешь, что я тебе скажу, - с веселым огоньком в светлых глазах перебил сам себя Санин, - и теперь ты тоскуешь не оттого, что жизнь вообще тебя не удовлетворяет, а оттого, что Лида тебя до сих пор не любила! Ведь правда?

- Ну, это ты уже глупости говоришь! - вскрикнул Новиков, вспыхивая, как его красная рубашка, и на его добрых спокойных глазах выступили слезы самого

наивного и искреннего смущения.

– Какие глупости, когда ты из-за Лиды света белого не видишь!.. Да у тебя от головы до пят так и написано одно желание – взять ее. А ты говоришь – глупости!

Новиков странно передернулся и торопливо заходил по аллее. Если бы это говорил не брат Лиды, он, может быть, тоже смутился бы, но ему было так странно слышать именно от Санина такие слова о Лиде, что он даже, но понял его хорошенько.

– Знаешь что, – пробормотал он, – ты или рисуешься, или...

– Что? – улыбаясь, спросил Санин.

Новиков молча пожал плечами, глядя в сторону. Другой вывод заключался в определении Санина как дурного, безнравственного, как понимал это Новиков, человека. Но этого он не мог сказать Санину, потому что всегда, еще с гимназии, чувствовал к нему искреннюю любовь. Выходило так, что ему, Новикову, нравился дрянной человек, а этого, конечно, быть не могло. И оттого в голове Новикова сделалось смутно и неприятно. Напоминание о Лиде было ему больно и стыдно, но так как Лиду он обожал и сам молился на свое большое и глубокое чувство к ней, то не мог сердиться на Санина за это напоминание: оно было и мучительно, и в то же время жгуче приятно. Точно кто-то горячей рукой взялся за сердце и тихонько пожимал его.

Санин молчал и улыбался, и улыбка у него была внимательная и ласковая.

– Ну придумай определение, а я подожду, – сказал он, – мне не к спеху.

Новиков все ходил по дорожке, и видно было, что он искренно мучится. Прибежал Милль, озабоченно посмотрел вокруг и стал тереться о колени Санина. Он, очевидно, был рад чему-то и хотел, чтобы все знали о его радости.

– Славная ты моя собачка! – сказал Санин, глядя его. Новиков с трудом удерживался, чтобы не заспорить снова, но боялся, чтобы Санин опять не коснулся того, что больше всего на свете его самого интересовало. А между тем

все другое, что приходило ему в голову, казалось пустым, неинтересным и мертвым при воспоминании о Лиде.

– А... а где Лидия Петровна? – машинально спросил он именно то, что хотел спросить, но чего спросить не решался.

– Лида? А где ей быть... На бульваре с офицерами гуляет. В это время все барышни у нас на бульваре.

С тоскливым уколом смутной ревности Новиков возразил:

– Лидия Петровна... как она, такая умная, развитая, проводит время с этими чугунолобыми господами...

– Э, друг! – усмехнулся Санин. – Лида молода, красива и здорова, как и ты... и даже больше, потому что у нее есть то, чего у тебя нет: жадность ко всему!.. Ей хочется все изведать, все почувствовать... Да вот и она сама... Ты только посмотри на нее и пойми!.. Красота-то какая!

Лида была меньше ростом и гораздо красивее брата. В ней поражали тонкое и обаятельное сплетение изящной нежности и ловкой силы, страстно горделивое выражение затемненных глаз и мягкий звучный голос, которым она гордилась и играла. Она медленно, слегка волнуясь на ходу всем телом, как молодая красивая кобыла, спустилась с крыльца, ловко и уверенно подбирая свое длинное серое платье. Путаясь шпорами и преувеличенно ими позванивая, за нею шли два молодых красивых офицера в блестящих сапогах и туго обтянутых рейтузах.

– Это кто же красота, я? – спросила Лида, наполняя весь сад своею красотой, женской свежестью и звучным голосом. Она протянула Новикову руку и покосилась на брата, к которому все не могла приноровиться и понять, когда он смеется, а когда говорит серьезно.

Новиков крепко пожал ее руку и так густо покраснел, что на глазах у него выступили слезы. Но Лида этого не заметила, она уже давно привыкла чувствовать на себе его робкие благоговейные взгляды, и они не волновали ее.

– Добрый вечер, Владимир Петрович! – весело и звонко щелкая шпорами и весь изгибаясь, как горячий веселый жеребец, сказал тот офицер, который был старше, светлее волосами и красивее.

Санин уже знал и то, что его фамилия была Зарудин, и то, что он ротмистр, и то, что он настойчиво и упрямо добивается любви Лиды. Другой офицер был поручик Танаров, который считал Зарудина образцом офицера и старался во всем подражать ему. Но он был молчалив, не очень ловок и хуже Зарудина лицом. Танаров так же щелкнул шпорами, но ничего не сказал.

– Ты! – слишком серьезно ответил Санин сестре.

– Конечно, конечно... красота, и прибавь – неописанная! – засмеялась Лида и бросилась в кресло, скользнув взглядом по лицу брата. Подняв обе руки к голове, отчего выпукло обрисовалась высокая упругая грудь, она стала откалывать шляпу, упустила в песок длинную, как жало, булавку и запутала в волосах и шпильках вуаль. – Андрей Павлович, помогите!.. – жалобно и кокетливо обратилась она к молчаливому поручику.

– Да, красота! – задумчиво повторил Санин, не спуская с нее глаз.

Лида снова покосилась на него недоверчивым взглядом.

– Все мы здесь красавцы, – сказала она.

– Мы что, – блестя белыми зубами, засмеялся Зарудин, – мы только убогая декорация, на которой еще ярче, еще пышнее обрисовывается ваша красота!

– А вы красноречивы! – удивился Санин, и в его голосе неуловимо прозвучал оттенок насмешки.

– Лидия Петровна хоть кого сделает красноречивым! – заметил молчаливый Танаров, стараясь отцепить шляпку Лиды и дергая ее за волосы, отчего она и сердилась, и смеялась.

– А и вы тоже красноречивы! – удивленно протянул Санин.

– Оставь их, – с удовольствием, неискренно шепнул Новиков. Лида, прищурившись, посмотрела прямо в глаза брату, и по ее потемневшим зрачкам Санин ясно прочел: «Не думай, что я не вижу, кто это такие! Но я так хочу! Это мне весело! Я не глупее тебя и знаю, что делаю!» Санин улыбнулся ей.

Шляпка наконец была отцеплена, и Танаров торжественно перенес ее на стол.

– Ах, какой вы, Андрей Павлович! – мгновенно меняя взгляд, опять жалобно и кокетливо воскликнула Лида. – Вы мне всю прическу испортили... Теперь надо идти в дом...

– Я этого никогда не прощу себе! – смущенно пробормотал Танаров.

Лида встала, подобрала платье и, возбуждающе чувствуя на себе взгляды мужчин, безотчетно смеясь и изгибаясь, взбежала на крыльцо.

Когда она ушла, все мужчины почувствовали себя вольнее и как-то сразу опустили и осели, утратив ту нервную напряженность движений, которую все мужчины принимают в присутствии молодой и красивой женщины. Зарудин вынул папиросу и, с наслаждением закуривая, заговорил. Слышно было, что он говорит только по привычке всегда поддерживать разговор, а думает совсем о другом.

– Сегодня я уговаривал Лидию Петровну бросить все и учиться петь серьезно. С ее голосом карьера обеспечена!

– Нечего сказать, хорошая дорога! – угрюмо и глядя в сторону, возразил Новиков.

– Чем же плохая? – с искренним удивлением спросил Зарудин и даже папиросу опустил.

– Да что такое артистка?.. Та же публичная женщина! – с внезапным раздражением ответил Новиков.

Его мучило и волновало то, что он говорил, потому что говорила в нем ревность, страдающая при мысли, что женщина, тело которой он любит, будет выступать

перед другими мужчинами, быть может, в костюмах вызывающих, обнажающих это тело, делающих его еще грешнее, заманчивее.

- Слишком сильно сказано, - приподнял брови Зарудин.

Новиков посмотрел на него с ненавистью: в его представлении Зарудин был именно одним из тех мужчин, которые хотят любимой им женщины, и его мучительно раздражало, что Зарудин красив.

- Ничуть не сильно... Выходить чуть не голой на сцену! Ломаться, изображать сцены сладострастия под взглядами тех, кто завтра уйдет от нее так же, как уходят от публичной женщины, заплатив деньги. Нечего сказать, хорошо!

- Друг мой, - возразил Санин, - каждой женщине приятно, чтобы любовались ее телом, прежде всего.

Новиков досадливо вздернул плечами.

- Что ты за пошлости говоришь!

- Черт их знает, пошлости это или нет, а только это правда. А Лида была бы эффектна на сцене, я бы посмотрел.

Хотя при этих словах у всех шевельнулось инстинктивное жадное любопытство, всем стало неловко. И Зарудин, считая себя умнее и находчивее других, счел своим долгом вывести всех из неловкого положения.

- А что же, по-вашему, женщине делать?.. Замуж выйти?.. На курсы ехать и погубить свой талант?.. Ведь это было бы преступлением против природы, наградившей ее своими лучшими дарами!

- Ух, - с нескрываемой насмешкой сказал Санин, - а ведь и в самом деле! Как это преступление мне самому в голову не пришло!

Новиков злорадно засмеялся, но из приличия возразил Зарудину:

- Почему же преступление: хорошая мать или хороший врач в тысячу раз полезнее всякой актрисы!

- Ну-у! - с негодованием протянул Танаров.

- И неужели вам не скучно все эти глупости говорить? - спросил Санин.

Зарудин поперхнулся начатым возражением, и всем вдруг показалось, что говорить об этом действительно скучно и бесполезно. Но, тем не менее, все обиделись. Стало тихо и совсем скучно.

Лида и Марья Ивановна показались на балконе. Лида расслышала последнюю фразу брата, но не поняла, в чем дело.

- Скоро же вы до скуки договорились! - весело заметила она. - Пойдемте к реке. Там хорошо теперь...

И, проходя мимо мужчин, она чуть-чуть потянулась всем телом, и глаза у нее на мгновение стали загадочны и темны, что-то обещая, что-то говоря.

- Прогуляйтесь до ужина, - сказала Марья Ивановна.

- С наслаждением, - согласился Зарудин, щелкая шпорами и подавая Лиде руку.

- А мне, надеюсь, можно с вами? - стараясь говорить ядовито, отчего у него все лицо приняло плаксивое выражение, спросил Новиков.

- А кто же вам мешает? - через плечо, смеясь, спросила Лида.

- Иди, брат, иди, - посоветовал Санин, - и я бы пошел, если бы, к сожаленью, она не была слишком уверена в том, что я ей брат!

Лида странно вздрогнула и насторожилась. Потом быстро окинула брата глазами и засмеялась коротко и нервно. Марью Ивановну покорило.

– Зачем ты эти глупости говоришь? – грубо спросила она, когда Лида ушла. – Оригинальничаешь все!..

– И не думаю, – возразил Санин.

Марья Ивановна посмотрела на него с недоумением. Она совершенно не могла понять сына, не знала, когда он шутит, когда говорит серьезно, что думает и чувствует тогда, когда все другие, понятные ей люди думают и чувствуют то же или почти то же, что и она сама. По ее понятиям выходило так, что человек должен чувствовать, говорить и делать всегда то, что говорят и делают все люди, стоящие с ним наравне по образованию, состоянию и социальному положению. Для нее было естественным, что люди должны быть не просто людьми, со всеми индивидуальными особенностями, вложенными в них природой, а людьми, влитыми в известную общую мерку. Окружающая жизнь укрепляла ее в этом понятии: к этому была направлена вся воспитательная деятельность людей, и в этом смысле больше всего отделялись интеллигентные от неинтеллигентных: вторые могли сохранять свою индивидуальность и за это презирались другими, а первые только распадались на группы, соответственно получаемому образованию. Убеждения их всегда отвечали не их личным качествам, а их положению: всякий студент был революционер, всякий чиновник буржуазен, всякий артист свободомыслящ, всякий офицер с преувеличенным понятием о внешнем благородстве, и когда вдруг студент оказывался консерватором или офицер анархистом, то это уже казалось странным, а иногда и неприятным. Санин по своему происхождению и образованию должен был быть совсем не тем, чем был, и как Лида, Новиков и все, кто с ним сталкивался, так и Марья Ивановна смотрела на него с неприятным ощущением обманутого ожидания. С чуткостью матери Марья Ивановна замечала то впечатление, которое производил сын на всех окружающих, и оно было ей больно.

Санин видел это. Ему очень хотелось успокоить мать, но он не знал, как это сделать. Сначала ему даже пришло в голову притвориться и высказать матери самые успокоительные мысли, но он ничего не мог придумать, засмеялся, встал и ушел в дом. Там он лег на кровать и стал думать о том, что люди хотят весь мир обратить в монастырскую казарму, с одним уставом для всех, уставом, ясно основанным на уничтожении всякой личности и подчинении ее могучей власти какого-то таинственного старчества. Он начал было размышлять над судьбою и ролью христианства, но это показалось ему так скучно, что он незаметно заснул и проспал до глубокого вечера.

Марья Ивановна, проводив его глазами, тяжело вздохнула и задумалась тоже. Думала она о том, что Зарудин явно ухаживает за Лидой, и ей хотелось, чтобы это было серьезно.

«Лидочке уже двадцать лет, – тихо шли ее мысли. – Зарудин, кажется, хороший человек. Говорят, он в этом году получит эскадрон... Только долгов за ним не оберешься! И к чему я этот сон отвратительный видела... Ведь сама знаю, что чепуха, а из головы нейдет!»

Этот сон, который приснился Марье Ивановне в тот самый день, когда Зарудин был у них в доме первый раз, почему-то действительно мучил ее. А снилось ей, что Лида, в белом платье, шла по полю, покрытому травами и цветами.

Марья Ивановна села в кресло, по-старушечьи подперла голову рукой и долго смотрела в постепенно темнеющее небо. Маленькие, но тягучие и докучные мысли ползли у нее в голове, и ей было грустно и страшно чего-то.

III

Когда уже совсем стемнело, вернулись гулявшие. Из глубины сада, мягко затонувшего в темноте, слышались их оживленные, яркие голоса.

Веселая раскрасневшаяся Лида подбежала к Марье Ивановне. От нее пахло раздражающе свежим и молодым запахом реки и красавицы женщины, возбужденной до крайнего напряжения обществом молодых, ей нравящихся, ею возбужденных мужчин.

– Ужинать, мама, ужинать! – затормошила она ласково улыбающуюся ей мать. – А пока Виктор Сергеевич нам поет.

Марья Ивановна пошла распорядиться ужином и, уходя, думала уже о том, что судьба такой интересной, красивой, здоровой и понятной ей девушки, как Лида, не может не быть счастливой.

Зарудин и Танаров ушли в зал, к роялю, а Лида села в стоявшее на балконе кресло-качалку и потянулась гибко и страстно.

Новиков молча ходил по скрипящим доскам балкона, искоса взглядывая на лицо, высокую грудь и вытянутые из-под платья стройные ноги в черных чулках и желтых туфельках, но она не замечала ни его взглядов, ни его самого, вся охваченная могучим и обаятельным ощущением первой страсти. Она совсем закрыла глаза и загадочно улыбалась сама себе.

В душе Новикова была обычная борьба: он любил Лиду, но в ее чувстве не мог разобраться. Иногда ему казалось, что она любит его, иногда – нет. И тогда, когда он думал, что «да», ему казалось вполне возможным, легким и прекрасным, что ее молодое, стройное и чистое тело сладострастно и полно будет принадлежать ему. А когда думал, что «нет», та же мысль казалась ему бесстыдной и гнусной, и тогда он ловил себя на чувственности и называл себя изменным, дрянным человеком, недостойным Лиды. Новиков шагал по доскам и загадывал:

– Если ступлю правой ногой на последнюю доску, то «да» и надо объясниться, а если левой, то...

Ему не хотелось думать, что будет тогда. На последнюю доску он ступил левой ногой, облился холодным потом и сейчас же сказал себе:

– Фу, какие глупости! Точно старая баба... Ну... Раз, два, три... со словом «три» прямо подойду и скажу. Как я скажу?.. Все равно. Ну, раз... два... три... Нет, до трех раз... Раз, два, три... раз, два...

Голова у него горела, во рту пересохло, и сердце колотилось так, что ноги дрожали.

– Да будет вам топтаться! – с досадой сказала Лида, открывая глаза. – Слушать мешаете!

Только теперь Новиков заметил, что Зарудин поет. Молодой офицер пел старинный романс:

Я вас любил, любовь моя, быть может,

В моей груди угасла не совсем...

Пел он недурно, но так, как поют люди малоразвитые: заменяя выражение криком и замиранием голоса. И пение Зарудина показалось чрезвычайно неприятным Новикову.

– Это что же, собственного сочинения? – спросил он с непривычным чувством злобы и раздражения.

– Нет... Не мешайте! Сидите смирно! – капризно приказала Лида. – Если музыку не любите, так на луну смотрите.

Совершенно круглая и еще красная луна действительно медленно и таинственно выглянула из-за черных верхушек сада. Ее легкий неуловимый свет заскользил по ступенькам, по платью Лиды и по ее улыбающемуся собственным мыслям лицу. Тени в саду сгустились и стали черными и глубокими, как в лесу.

Новиков вздохнул.

– Лучше уж на вас, – неловко сказал он и подумал: «Какие я пошлости способен говорить!»

Лида засмеялась.

– Фу, какой дубовый комплимент!

– Я не умею комплиментов говорить, – угрюмо возразил Новиков.

– Да замолчите... слушайте же! – досадливо дернула плечами Лида.

Но пусть она вас больше не тревожит,

Я не хочу печалить вас ничем!..

Звуки рояля звонкими кристальными всплесками отдавались в зеленом сыром саду. Лунный свет все ясел, а тени становились все глубже и черней. Внизу, по траве, тихо прошел Санин, сел под липой, хотел закурить папиросу, но раздумал и сидел неподвижно, точно зачарованный тишиной вечера, которую не нарушали, а как-то дополняли звуки рояля и молодого страстно поющего голоса.

– Лидия Петровна! – вдруг выпалил Новиков, как будто сразу стало очевидно, что нельзя потерять этого момента.

– Что? – машинально спросила Лида, глядя в сад, на луну и на черные веточки, чеканящиеся на ее круглом ярком диске.

– Я уже давно жду... хочу поговорить... – срывающимся голосом продолжал Новиков.

Санин повел головой и прислушался.

– О чем? – рассеянно переспросила Лида.

Зарудин кончил один, помолчал и запел другой романс. Он думал, что у него редкостно красивый голос, и любил петь.

Новиков почувствовал, что краснеет и бледнеет пятнами и что ему нехорошо до головокружения.

– Я, видите ли... Лидия Петровна... хотите быть моей... женой... – заплетаясь языком и чувствуя, что совсем это не так говорится и не то чувствуется в такие минуты, и еще прежде, чем он договорил, как-то само собой стало ясно, что «нет» и что сейчас произойдет что-то постыдное, глупое, непереносимо смешное.

Лида машинально переспросила:

– Чьей? – и вдруг вспыхнула, встала, хотела что-то сказать, но не сказала и в замешательстве отвернулась. Луна смотрела прямо на нее.

– Я вас люблю... – продолжал мямлить Новиков, чувствуя, что луна перестала светить, что в саду душно и все валится куда-то в безнадежную ужасную пропасть. – Я... говорить не умею, но это глупости, и... я очень вас люблю...

«При чем тут очень... точно я о сливочном мороженом говорю»... – вдруг подумал он и замолчал.

Лида нервно дергала листик, попавший ей в руки. Она растерялась, потому что это было совершенно неожиданно, не нужно и создавало печальную, непоправимую неловкость между нею и Новиковым, к которому она издавна привыкла почти как к родному и которого немного любила.

– Я не знаю, право... Я не думала вовсе...

Новиков почувствовал, как с тупой болью упало куда-то вниз его сердце, побледнел, встал и взял фуражку.

– До свиданья! – сказал он, сам не слыша своего голоса. Губы у него странно кривились в нелепую и неуместную дрожащую улыбку.

– Куда же вы? До свиданья! – растерянно отвечала Лида, протягивая руку и стараясь беспечно улыбаться.

Новиков быстро пожал ей руку и, не надевая фуражки, крупными шагами пошел прямо по росистой траве в сад. Зайдя в первую тень, он вдруг остановился и с силой схватил себя за волосы.

– Боже мой, Боже... за что я такой несчастный!.. Застрелиться... Все это пустяки, а застрелиться... – вихрем и бессвязно пронеслось у него в голове, и он почувствовал себя самым несчастным, опозоренным и смешным человеком в мире.

Санин хотел было его окликнуть, но раздумал и улыбнулся. Ему было смешно, что Новиков дергает себя за волосы и чуть ли даже не плачет оттого, что женщина, лицо которой, плечи, груди и ноги нравились ему, не хочет отдаться.

И еще Санину было приятно, что красивая сестра не любит Новикова.

Лида несколько минут неподвижно простояла на том же месте, и Санин с острым любопытством следил за ее смутно озаренным луною белым силуэтом.

Из уже освещенных лампой желтых дверей дома вышел на балкон Зарудин, и Санину ясно было слышно осторожное позвякивание его шпор. В зале Танаров тихо и грустно играл старый вальс, с расплывающимися кругообразными томными звуками.

Зарудин тихо подошел к Лиде и мягким ловким движением обнял ее за талию, и Санину было видно, как два силуэта легко слились в один, странно колеблющийся в лунном тумане.

– О чем вы так задумались? – тихо шепнул Зарудин, трогая губами ее маленькое свежее ухо и блестя глазами.

У Лиды сладко и жутко поплыла голова. Как и всегда, когда она обнималась с Зарудиным, ее охватило странное чувство: она знала, что Зарудин бесконечно ниже ее по уму и развитию, что она никогда не может быть подчинена ему; но в то же время было приятно и жутко позволять эти прикосновения сильному, большому, красивому мужчине, как будто заглядывая в бездонную, таинственную пропасть с дерзкой мыслью: а вдруг возьму и брошусь... захочу и брошусь!

– Увидят... – чуть слышно прошептала она, не прижимаясь и не отдаляясь и еще больше дразня и возбуждая его этой отдающейся пассивностью.

– Одно слово, – еще прижимаясь к ней и весь заливаясь горячей возбужденной кровью, продолжал Зарудин, – придете?

Лида дрожала. Этот вопрос он предлагал ей уже не в первый раз, и всегда в ней что-то начинало томиться и дрожать, делая ее слабой и безвольной.

– Зачем? – глухо спросила она, глядя на луну широко открытыми и налитыми какой-то влагой глазами.

Зарудин не мог и не хотел ответить ей правды, хотя, как все легко сходящиеся с женщинами мужчины, в глубине души был уверен, что Лида и сама хочет, знает

и только боится.

– Зачем... Да посмотреть на вас свободно, перекинуться словом. Ведь это пытка... вы меня мучите... Лидия... придете? – страстно придавливая к своим дрожащим ногам ее выпуклое, упругое и теплое бедро, повторил он.

И от соприкосновения их ног, жгучего, как раскаленное железо, еще гуще поднялся вокруг теплый, душный, как сон, туман. Все гибкое, нежное и стройное тело Лиды замирало, изгибалось и тянулось к нему. Ей было мучительно хорошо и страшно. Вокруг все странно и непонятно изменилось: луна была не луна и смотрела близко-близко, через переплет террасы, точно висела над самой ярко освещенной лужайкой; сад, не тот, который она знала, а какой-то другой, темный и таинственный, придвинулся и стал вокруг. Голова медленно и тягуче кружилась. Изгибаясь со странной ленью, она освободилась у него из рук и сразу пересохшими, воспаленными губами с трудом прошептала:

– Хорошо...

И, пошатываясь, через силу ушла в дом, чувствуя, как что-то страшное, неизбежное и привлекательное тянет ее куда-то в бездну.

– Это глупости... это не то... я только шучу... Просто мне любопытно, забавно... – старалась она уверить себя, стоя в своей комнате перед темным зеркалом и видя только свой черный силуэт на отражающейся в нем освещенной двери в столовую. Она медленно подняла обе руки к голове, заломила их и страстно потянулась, следя за движениями своей гибкой тонкой талии и широких выпуклых бедер.

Зарудин, оставшись один, вздрогнул на красивых, плотно обтянутых ногах, потянулся, страстно зажмурившись, и, скаля зубы под светлыми усами, повел плечами. Он был привычно счастлив и чувствовал, что впереди ему предстоит еще больше счастья и наслаждения. Лида в момент, когда она отдастся ему, рисовалась так жгуче и необыкновенно сладострастно хороша, что ему было физически больно от страсти.

Сначала, когда он начал за ней ухаживать, и даже тогда, когда она уже позволила ему обнять и поцеловать себя, Зарудин все-таки боялся ее. В ее потемневших глазах было что-то незнакомое и непонятное ему, как будто,

позволяя ласкать себя, она втайне презирала его. Она казалась ему такой умной, такой непохожей на всех тех девушек и женщин, лаская которых, он горделиво сознавал свое превосходство, такой гордой, что, обнимая ее, он замирал, точно ожидая получить пощечину, и как-то боялся думать о полном обладании ею. Иногда казалось, будто она играет им и его положение просто глупо и смешно. Но после сегодняшнего обещания, данного знакомым Зарудину по другим женщинам странным, срывающимся и безвольным голосом, он вдруг неожиданно почувствовал свою силу и внезапную близость цели и понял, что уже не может быть иначе, чем так, как хочет он. И к сладкому томительному чувству сладострастного ожидания тонко и бессознательно стал примешиваться оттенок злорадности, что эта гордая, умная, чистая и начитанная девушка будет лежать под ним, как и всякая другая, и он так же будет делать с нею что захочет, как и со всеми другими. И острая жестокая мысль стала смутно представлять ему вычурно унижающие сладострастные сцены, в которых голое тело, распущенные волосы и умные глаза Лиды сплетались в какую-то дикую вакханалию сладострастной жестокости. Он вдруг ясно увидел ее на полу, услышал свист хлыста, увидел розовую полосу на голом нежном покорном теле и, вздрогнув, пошатнулся от удара крови в голову. Золотые круги сверкнули у него в глазах.

Было даже физически невыносимо думать об этом. Зарудин дрожащими пальцами закурил папиросу, еще раз дрогнул на сильных ногах и пошел в комнаты.

Санин, который не слышал, но увидел и понял все, с чувством, похожим на ревность, пошел за ним.

«И везет же вот таким животным! – подумал он. – Черт знает что такое! Лида и он!»

Ужинали в комнатах. Марья Ивановна была не в духе. Танаров по обыкновению молчал и мечтал о том, как было бы хорошо, если бы он был такой, как Зарудин, и его любила такая девушка, как Лида. И ему казалось, что он любил бы ее не так, как Зарудин, не способный оценить такое счастье. Лида была бледна, молчалива и не смотрела ни на кого. Зарудин был весел и насторожен, как зверь на охоте, а Санин, как всегда, зевал, ел, пил много водки и нестерпимо, по-видимому, хотел спать. Но это не помешало ему после ужина заявить, что спать он не хочет и, в виде прогулки, пойдет проводить Зарудина.

Была уже совсем ночь, и луна плыла высоко. Санин и Зарудин, почти молча, дошли до квартиры офицера. Санин всю дорогу посматривал на офицера и думал, не треснуть ли его по физиономии.

- Н-да, - заговорил он уже возле самого дома, - много есть на свете всякого сорта мерзавцев!

- То есть? - вопросительно и удивленно произнес Зарудин, высоко поднимая брови.

- Да так, вообще... А мерзавцы - самые занимательные люди...

- Что вы! - усмехнулся Зарудин.

- Конечно. На свете нет ничего скучнее честного человека... Что такое честный человек? Программа честности и добродетели давно всем известна, и в ней не может быть ничего нового... От этого старья в человеке исчезает всякое разнообразие, жизнь сводится в одну рамку добродетели, скучную и узкую. Не кради, не лги, не предай, не прелюбы сотвори... И главное, что все это в человеке сидит прочно: всякий человек и лжет, и предает, и «прелюбы» это самое творит по мере сил...

- Не всякий же! - снисходительно заметил Зарудин.

- Нет, всякий. Стоит только вдуматься в жизнь каждого человека, чтобы найти в ней, более или менее глубоко, грех... Предательство, например. В ту минуту, как мы отдаем Кесарево Кесарю, ложимся спокойно спать, садимся обедать, мы совершаем предательство...

- Что вы говорите! - невольно воскликнул Зарудин почти с возмущением.

- Конечно. Мы платим подати и отбываем повинности, значит, мы предаем тысячи людей той самой войне и несправедливости, которыми возмущаемся. Мы ложимся спать, а не бежим спасать тех, кто в ту минуту погибает за нас, за наши идеи... мы съедаем лишний кусок, предавая голоду тех людей, о благе которых мы, если мы добродетельные люди, должны были пещись всю жизнь. И так далее. Это понятно!.. Другое дело мерзавец, настоящий откровенный

мерзавец! Прежде всего, это человек совершенно искренний и естественный...

- Естественный?!

- Всенепременно. Он делает то, что для человека совершенно естественно. Он видит вещь, которая ему не принадлежит, но которая хороша, он ее берет: видит прекрасную женщину, которая ему не отдается, он ее возьмет силой или обманом. И это вполне естественно, потому что потребность и понимание наслаждений и есть одна из немногих черт, которыми естественный человек отличается от животного. Животные, чем больше они – животные, не понимают наслаждений и не способны их добиваться. Они только отправляют потребности. Мы все согласны с тем, что человек не создан для страданий и не страдания же идеал человеческих стремлений...

- Разумеется, – согласился Зарудин.

- Значит, в наслаждениях и есть цель жизни. Рай – синоним наслаждения абсолютного, и все так или иначе мечтают о рае на земле. И рай первоначально, говорят, и был на земле. Эта сказка о рае вовсе не вздор, а символ и мечта.

- Да, – заговорил, помолчав, Санин, – человеку от природы не свойственно воздержание, и самые искренние люди – это люди, не скрывающие своих вожделений... то есть те, которых в обществе называют мерзавцами... Вот, например, вы...

Зарудин вздрогнул и отшатнулся.

- Вы, конечно, – продолжал Санин, притворяясь, что не замечает ничего, – самый лучший человек на свете. По крайней мере в своих глазах. Ну, признайтесь, встречали ли вы когда-нибудь человека лучше вас?

- Много... – нерешительно ответил Зарудин, который уже совершенно не понимал Санина и которому было решительно неизвестно, уместно ли теперь обидеться или нет.

- Назовите, – предложил Санин. Зарудин недоумевающе пожал плечами.

– Ну вот, – весело подхватил Санин, – вы самый лучший человек, и я, конечно, самый лучший, а разве нам с вами не хочется красть, лгать и «прелюбы» сотворить... прежде всего «прелюбы»?

Зарудин пожал плечами опять.

– Ори-ги-нально, – пробормотал он.

– Вы думаете? – с неуловимым оттенком обидного спросил Санин. – А я и не думал... Да, мерзавцы – самые искренние люди, притом и самые интересные, ибо пределов и границ человеческой мерзости даже и представить себе нельзя... Я мерзавцу с особенным удовольствием пожму руку.

Санин с необыкновенно открытым видом пожал руку Зарудину, глядя ему прямо в глаза, потом вдруг насупился и, уже совсем другим тоном пробормотав: «Прощайте, покойной ночи!» – ушел.

Зарудин несколько минут неподвижно простоял на месте, глядя вслед уходившему Санину. Он не знал, как принять слова Санина, и на душе у него было смутно и неприятно. Но сейчас же он вспомнил Лиду, усмехаясь, подумал, что Санин – брат Лиды, что он, в сущности, прав, и почувствовал к нему братскую приязнь и дружбу.

– Занимательный парень, черт возьми! – подумал он самодовольно, точно Санин тоже до некоторой степени уже принадлежал ему. Потом он отворил калитку и через освещенный луною двор пошел к своему флигелю.

Санин вернулся домой, разделся, лег, укрылся, хотел читать «Так говорит Заратустра», которого нашел у Лиды, но с первых страниц ему стало досадно и скучно. Напыщенные образы не трогали его души. Он плюнул и, бросив книгу, моментально заснул.

К жившему в том же городе отставному полковнику и помещику Николаю Егоровичу Сварожичу приехал его сын, студент-технолог.

Он был выслан из Москвы под надзор полиции, как подозреваемый в участии в революционной организации. О том, что он арестован, просидел в тюрьме полгода и выслан из столицы, Юрий Сварожич еще раньше известил своих родных письмами, и его приезд не был для них неожиданностью. Хотя Николай Егорович был других убеждений, видел в поступках сына мальчишеское безумие и был страшно опечален его историей, но он его любил и принял ласково, стараясь избегать разговоров на щекотливую тему.

Юрий ехал два дня в вагоне третьего класса, где нельзя было спать от духоты, дурного запаха и рева младенцев. Он очень устал и, едва поздоровавшись с отцом и сестрой Людмилой, которую все в городе называли просто Лялей, как она сама окрестила себя в детстве, лег спать в комнате Ляли на ее кровати.

Проснулся он уже к вечеру, когда солнце садилось и его косые лучи красными пятнами чертили на стене силуэт окна. В соседней комнате стучали ложками и стаканами, слышался веселый смех Ляли и незнакомый Юрию приятный, барский мужской голос.

Сначала Юрию показалось, что он все еще едет в вагоне, который позвякивает буферами и оконными стеклами, и слышит в соседнем отделении голоса незнакомых ему пассажиров. Но сейчас же он опомнился, быстро приподнялся и сел на кровати.

– Да, – протянул он, сморщившись и ероша свои черные, густые и упрямые волосы. – Вот я и приехал!

И он стал думать, что ему не стоило сюда приезжать. Ему предоставлялось право выбора местожительства. Почему он поехал именно домой, Юрий не отдавал себе отчета. Он думал и хотел думать, что сказал первое, что пришло в голову, но это было не так: Юрий всю жизнь жил не собственным трудом, а помощью отца, и ему было страшно очутиться одному, без поддержки, в незнакомом месте, среди чужих людей. Он стыдился этого чувства и не признавался в нем даже самому себе. Но теперь он подумал, что сделал нехорошо. Родные не могли понять и одобрить его истории, это было ясно; к этому должен был примешаться и материальный интерес, – лишние годы

сидения на шее у отца, – и все вместе делало то, что хороших, искренних и согласных отношений у них быть не могло. И, кроме того, в этом маленьком городке, в котором он не был уже два года, должно было быть очень скучно. Всех жителей маленьких уездных городов Юрий огулом считал мещанами, неспособными не только понимать, но даже интересоваться теми вопросами философии и политики, которые Юрий считал единственным смыслом и интересом жизни.

Юрий встал, подошел к окну, отворил его и высунулся в палисадник, разбитый под стенами дома. Весь он был покрыт красными, голубыми, желтыми, лиловыми и белыми цветами, пересыпанными, как в калейдоскопе. За палисадником темнел густой сад, сбегавший, как и все сады в этом заросшем и речном городке, к реке, которая бледным стеклом поблескивала внизу между деревьями. Вечер был тихий и прозрачный.

Юрию стало грустно. Он слишком много жил в больших каменных городах, и хотя всегда думал, что любит природу, она оставалась для него пустынной и не смягчала его чувств, не успокаивала, не радовала его, а возбуждала в нем непонятную, мечтательную, болезненную грусть.

– А... Ты уже встал, пора! – сказала Ляля, входя в комнату. Юрий отошел от окна.

Тяжелое чувство от сознания своего обособленного и неопределенного положения и тихая грусть, возбужденная умиранием дня, сделали то, что Юрию было неприятно видеть свою сестру веселой и слышать ее звонкий, беззаботный голос.

– Тебе весело? – неожиданно для самого себя спросил он.

– Вот тебе и на! – воскликнула Ляля, делая большие глаза, но сейчас же рассмеялась еще веселее, точно вопрос брата напомнил ей что-то очень забавное и радостное. – Что это тебе вздумалось справляться о моем веселье... Я никогда не скучаю... Некогда.

И, принимая серьезный вид и, видимо, гордясь тем, что говорит, она прибавила:

– Такое интересное теперь время, что прямо грех скучать!.. Я теперь занимаюсь с рабочими, а потом много времени отнимает библиотека... Без тебя мы здесь

народную библиотеку устроили. И хорошо пошла!

В другое время это было бы интересно Юрию и возбудило бы его внимание, но теперь что-то мешало ему.

Ляля делала серьезно лицо и забавно, как ребенок, ждала одобрения, а потому Юрий сделал над собою усилие и сказал:

- Вот как!

- Где же мне еще скучать! – довольно протянула Ляля.

- А вот мне все скучно, – опять невольно возразил Юрий.

- Любезно, нечего сказать! – шутя, возмутилась Ляля. – Всего несколько часов дома... да и те проспал, а уже скучает!

- Ничего не поделаешь, это от Бога! – с легким оттенком самодовольства возразил Юрий. Ему казалось, что скучать лучше и умнее, чем веселиться.

- От Бога, от Бога! – притворно дуюсь, пропела Ляля и замахнулась на него рукой:

- У-у!..

Юрий не замечал, что ему уже весело. Звонкий голос и жизнерадостность Ляли быстро и легко разогнали тяжелое чувство, которое он считал серьезным и глубоким. И Ляля бессознательно не верила в его тоску, а потому нисколько не обиделась его заявлением.

Юрий, улыбаясь, смотрел ей в лицо и говорил:

- Мне никогда не бывает весело!

Ляля смеялась, точно он сообщал ей что-то очень забавное и веселое.

– Ну ладно, рыцарь печального образа! Никогда, так и никогда. Пойдем лучше, я представлю тебе одного молодого человека... приятной наружности... Идем!

Ляля, смеясь, тянула брата за руку.

– Постой, что же это за приятный молодой человек?

– Мой жених! – звонко и весело выкрикнула Ляля прямо в лицо Юрию и в восторге от смущения и радости закружилась по комнате, раздувая платье.

Юрий и раньше из писем отца и самой Ляли знал, что молодой доктор, недавно приехавший в их город, ухаживает за Лялей, но не знал еще, что это дело решено.

– Вот как! – протянул он удивленно, и ему было странно, что эта маленькая, такая чистенькая и свеженькая Ляля, которую он все еще считал полудевочкой, уже имеет жениха и скоро выйдет замуж, сделается женщиной, женой... Он почувствовал к сестре нежность и неопределенную тихую жалость.

Юрий обнял Лялю за талию и пошел с ней вместе в столовую, где уже горела лампа, блестел большой, ярко начищенный самовар и сидели Николай Егорович и незнакомый, плотный, но молодой человек нерусского типа, со смуглым лицом и быстрыми любопытными глазами.

Он развязно, любезно и спокойно поднялся навстречу Юрию.

– Ну, познакомимся...

– Анатолий Павлович Рязанцев, – комически торжественно провозгласила Ляля, забавно вывертывая руку ладонью вверх.

– Прошу любить и жаловать, – так же шутя прибавил Рязанцев.

Они с искренним желанием приязни пожали руки и одну секунду думали почему-то поцеловаться, но не поцеловались и только дружелюбно и внимательно поглядели в глаза друг другу.

– Вот какой у нее брат! – с удивлением подумал Рязанцев, ожидавший, что у бойкой, белокурой и цветущей маленькой Ляли брат должен быть такой же светлый и жизнерадостный. А Юрий был высок, худ и черен, хотя так же красив, как и Ляля, и даже похож на нее тонкими правильными чертами лица.

Юрий же, глядя на Рязанцева, подумал, что вот тот самый человек, который в маленькой, чистенькой и свеженькой, как весеннее утро, девочке Ляле полюбил женщину. Полюбил, конечно, совершенно так же, как и сам Юрий любил женщин. И почему-то это было неприятно, и неловко было смотреть на Рязанцева и Лялю, точно те могли догадаться об его мыслях.

Они чувствовали, что многое и важное должны сказать друг другу. Юрию хотелось спросить:

– Вы любите Лялю?.. Чисто ли, серьезно ли?.. Ведь жалко, гадко будет, если вы ее обманываете... Она такая чистая, невинная!

А Рязанцеву ответить:

– Да, я очень люблю вашу сестру, да ее и нельзя не любить: посмотрите, какая она чистенькая, свеженькая, хорошенькая, как мило она меня любит и какой у нее милый вырез возле шеи...

Но вместо этого Юрий не сказал ничего, а Рязанцев спросил:

– Вы высланы надолго?

– На пять лет, – ответил Юрий.

Николай Егорович, ходивший по комнате, на мгновение задержался, но справился и продолжал ходить чересчур правильными и размеренными шагами старого военного. Он еще не знал подробностей высылки сына, и это неожиданное известие кинулось ему в голову.

«Черт знает что такое!» – мысленно вспыхнул он.

Ляля поняла это движение отца и испугалась. Она боялась всяких ссор, споров и неприятностей и попыталась перевести разговор.

- Какая я глупая, - мысленно укорила она себя, - как не догадаться предупредить Толю.

Но Рязанцев не знал сути дела и, ответив на вопрос Ляли, хочет ли он чаю, опять стал расспрашивать Юрия:

- Что же вы теперь намерены делать?

Николай Егорович хмурился и молчал. И вдруг Юрий почувствовал его молчание, и, прежде чем успел сообразить последствия, в нем закипело раздражение и упрямство. Он нарочно ответил:

- Ничего пока...

- Как так ничего? - останавливаясь, спросил Николай Егорович. Голоса он не повысил, но в звуках его ясно послышался затаенный укор.

«Как ты можешь говорить „ничего“, как у тебя хватает совести говорить это, точно я обязан держать тебя на своей шее!.. Как ты смеешь забывать, что я стар, что тебе давно пора самому хлеб зарабатывать? Я ничего не говорю, живи, но как ты сам этого не понимаешь!» - сказал этот тон.

И тем острее чувствуя его, потому что сознавал за отцом право так думать, Юрий, тем не менее, оскорбился всем существом своим.

- Да так, ничего... что же мне делать? - вызывающе ответил он.

Николай Егорович хотел сказать что-то резкое, но промолчал и, только пожав плечами, опять стал ходить из угла в угол тяжелыми, размеренными на три темпа шагами. Джентльменское воспитание не позволило ему раздражиться в первый же день приезда сына.

Юрий следил за ним блестящими глазами и уже не мог сдерживаться, весь ощетинившись и насторожившись, чтобы вцепиться в малейший повод. Он

прекрасно сознавал, что сам вызывает ссору, но уже не мог владеть своим упрямством и раздражением.

Ляля чуть не плакала и растерянно переводила умоляющие глаза с брата на отца. Рязанцев, наконец, понял, и ему стало жаль Лялю. Он поспешно и не очень ловко перевел разговор на другую тему.

Вечер прошел скучно и натянуто. Юрий не мог считать себя виноватым, потому что не мог согласиться, что политическая борьба не его дело, как думал Николай Егорович. Ему казалось, что отец не понимает самой простой вещи, потому что стар и неразвит, и он бессознательно чувствовал его виновным в своей старости и неразвитости и злился. Разговоры, которые поднимал Рязанцев, его не занимали, и, слушая вполуха, он все так же напряженно и злобно следил за отцом своими черными блестящими глазами.

К самому ужину пришли Новиков, Иванов и Семенов.

Семенов был больной чахоткою университетский студент, уже несколько месяцев живший в этом городе на уроки. Он был очень некрасив, худ и слаб, и на его преждевременно состарившемся лице неуловимо, но жутко лежала тонкая тень близкой смерти. Иванов был народный учитель, длинноволосый, широкоплечий и нескладный человек.

Они вместе гуляли на бульваре и, узнав о приезде Юрия, зашли поздороваться.

С их приходом все оживилось. Начались остроты, шутки и смех. За ужином все выпили, и Иванов больше всех.

За те несколько дней, которые прошли со времени его неудачного объяснения с Лидой Саниной, Новиков немного успокоился. Ему стало казаться, что отказ был случайным, что он сам виноват в нем, не подготовив Лиду. Но все-таки ему было мучительно стыдно и неловко ходить к Саниным. Поэтому он старался видаться с Лидой не у них, а будто случайно встречаясь с нею то у знакомых, то на улице. И оттого, что Лида, жалевшая его и чувствовавшая себя как будто виноватой, была с ним преувеличенно ласкова и внимательна, Новиков опять стал надеяться.

– Вот что, господа, – сказал он, когда они уже уходили, – давайте-ка устроим пикник в монастыре... А?

Загородный монастырь был обычным местом прогулок, потому что стоял на горе, в красивом привольном и речном месте, недалеко от города, и дорога туда была хороша.

Ляля, больше всего на свете любившая всякий шум, прогулки, купанье, катанье на лодке и беготню по лесу, с увлечением ухватилась за эту мысль.

– Непременно, непременно... А когда?

– Да хоть и завтра! – ответил Новиков.

– А кого же мы пригласим еще? – спросил Рязанцев, которому тоже понравилась мысль о прогулке. В лесу можно было целоваться, обниматься и быть в раздражающей близости к телу Ляли, которое остро дразнило его своей свежестью и чистотой.

– Да кого... Вот нас... шестеро. Позовем Шафрова.

– Это кто же такой? – спросил Юрий.

– Юный студизосус один тут есть такой.

– Ну... а Людмила Николаевна пригласит Карсавину и Ольгу Ивановну.

– Кого? – опять переспросил Юрий. Ляля засмеялась.

– Увидишь! – сказала она и загадочно выразительно поцеловала кончики пальцев.

– Вот как, – улыбнулся Юрий, – посмотрим, посмотрим... Новиков помялся и неестественно равнодушно прибавил:

– Саниных можно позвать.

– Лиду непременно! – воскликнула Ляля не столько потому, что ей нравилась Санина, сколько потому, что знала о любви Новикова и хотела сделать ему приятное. Она была очень счастлива своей любовью, и ей хотелось, чтобы и все вокруг были так же счастливы и довольны.

– Только тогда придется и офицеров звать, – язвительно вставил Иванов.

– Что ж, позовем... чем больше народу, там лучше. Все вышли на крыльцо.

Луна светила ярко и ровно. Было тепло и тихо.

– Ну ночь, – сказала Ляля, незаметно прижимаясь к Рязанцеву.

Ей не хотелось, чтобы он уходил. Рязанцев крепко прижал ее круглую теплую ручку локтем.

– Да, ночь чудная! – сказал он, придавая этим простым словам особенный, только им двоим понятный смысл.

– Да будет ей благо, – басом отозвался Иванов, – а я спать желаю. Покойной ночи, синьоры!

И он зашагал по улице, размахивая руками, как мельница крыльями.

Потом ушли Новиков и Семенов. Рязанцев долго прощался с Лялей под предлогом совещания о пикнике.

– Ну, бай, бай, – шутя, сказала Ляля, когда он ушел, потянулась и вздохнула, с сожалением покидая лунный свет, теплый ночной воздух и то, к чему они звали ее молодое, цветущее тело.

Юрий подумал, что отец еще не спит и что если они останутся вдвоем, то неприятное и ни к чему не ведущее объяснение будет неизбежным.

– Нет, – сказал он, глядя в сторону, на голубоватый туман, тянущийся пеленой за черным забором над рекой, – я еще не хочу спать... Пойду пройдуся.

– Как хочешь, – отозвалась Ляля тихим и странно нежным голосом. Она еще раз потянулась, зажмурилась, как кошечка, улыбнулась куда-то навстречу лунному свету и ушла. Юрий остался один. С минуту он неподвижно стоял и смотрел на черные тени домов и деревьев, казавшиеся глубокими и холодными, потом встрепенулся и пошел в ту сторону, куда медленно ушел Семенов.

Больной студент не успел уйти далеко. Он шел тихо, согнувшись и глухо покашливая, и его черная тень бежала за ним по светлой земле. Юрий его догнал и сразу заметил происшедшую в нем перемену: во все время ужина Семенов шутил и смеялся едва ли не больше всех, а теперь он шел грустно, понуро, и в его глухом покашливании слышалось что-то грозное, печальное и безнадежное, как та болезнь, которую он был болен.

– А, это вы! – рассеянно и, как показалось Юрию, недоброжелательно сказал он.

– Что-то спать не хочется. Вот, провожу вас, – пояснил Юрий.

– Проводите, – равнодушно согласился Семенов.

Они долго шли молча. Семенов все покашливал и горбился.

– Вам не холодно? – спросил Юрий, так только, потому что его начинало тяготить это унылое покашливание.

– Мне всегда холодно, – как будто с досадой возразил Семенов.

Юрию стало неловко, точно он нечаянно коснулся больного места.

– Вы давно из университета? – опять спросил он. Семенов ответил не сразу.

– Давно, – сказал он.

Юрий начал рассказывать о студенческих настроениях, о том, что среди студентов считалось самым важным и современным. Сначала он говорил просто, но потом увлекся, оживился и стал говорить с выражением и горячностью.

Семенов слушал и молчал.

Потом Юрий незаметно перешел к упадку революционного настроения среди масс. И видно было, что он искренно страдает о том, что говорит.

- Вы читали последнюю речь Бебеля? - спросил он.

- Читал, - ответил Семенов.

- Ну и что?

Семенов вдруг с раздражением махнул своей палкой с большим крючком. Его тень так же махнула своей черной рукой, и это движение ее напомнило Юрию зловещий взмах крыла какой-то черной хищной птицы.

- Что я вам скажу, - торопливо и сбивчиво заговорил Семенов, - я скажу, что я вот умираю...

И опять он махнул палкой, и опять черная тень хищно повторила его движение. На этот раз и Семенов заметил ее.

- Вот, - сказал он горько, - у меня за спиной смерть стоит и каждое мое движение стережет... Что мне Бебель!.. Болтун болтает, другой будет болтать другое, а мне все равно не сегодня-завтра умирать.

Юрий смущенно молчал, и ему было грустно, тяжело и обидно на кого-то за то, что он слышал.

- Вот вы думаете, что все это очень важно... то, что случилось в университете и что сказал Бебель... А я думаю, что когда вам, как мне, придется умирать и знать наверное, что умираешь, так вам и в голову не придет думать, что слова Бебеля, Ницше, Толстого или кого еще там... имеют какой-либо смысл!

Семенов замолчал.

Месяц по-прежнему светил ярко и ровно, и черная тень неотступно шла за ними.

– Организм разрушается... – вдруг произнес Семенов своим другим, слабым и жалким голосом.

– Если бы вы знали, как не хочется умирать... Особенно в такую ясную теплую ночь!.. – с жалобной тоской заговорил он, поворачивая к Юрию свое некрасивое, обтянутое кожей лицо, с ненормально блестящими глазами. – Все живет, а я умираю... Вот, вам кажется – и должна казаться – избитой эта фраза... А я умираю. Не в романе, не на страницах, написанных «с художественной правдой», а на самом деле умираю, и она не кажется мне избитой... Когда-нибудь и вам не будет казаться... Умираю, умираю, и все тут!

Семенов закашлялся.

– Я вот иногда начну думать о том, что скоро я буду в полной темноте, в холодной земле, с провалившимся носом и отгнившими руками, а на земле все будет совершенно так же, как и сейчас, когда я иду живой. Вы вот еще будете живы... Будете ходить, смотреть на эту луну, дышать, пройдете мимо моей могилы и остановитесь над нею по своей надобности, а я буду лежать и отвратительно гнить. Что мне Бебель, Толстой и миллионы других кривляющихся ослов! – вдруг со злобой резко выкрикнул Семенов.

Юрий молчал, растерянный и расстроенный.

– Ну, прощайте, – сказал Семенов тихо. – Мне сюда. Юрий пожал ему руку и с глубокой жалостью посмотрел на его впалую грудь, согнутые плечи и на его палку с толстым крючком, которую Семенов зацепил за пуговицу своего студенческого пальто. Юрию хотелось что-то сказать, чем-нибудь утешить и обнадежить его, но он чувствовал, что ничем нельзя этого сделать, вздохнул и ответил:

– До свидания.

Семенов приподнял фуражку и отворил калитку. За забором еще слышались его шаги и глухое покашливание. Потом все смолкло.

Юрий пошел назад. И все, что еще полчаса тому назад казалось ему легким, светлым, тихим и спокойным – лунный свет, звездное небо, тополя, освещенные луной, и таинственные тени, – теперь показалось мертвым, зловещим и

страшным, как холод огромной мировой могилы.

Когда он пришел домой, тихо пробрался в свою комнату и отворил окно в сад, ему в первый раз пришло в голову, что все то, чем он так глубоко, доверчиво и самоотверженно занимался, – не то, что было нужно. Ему представилось, что когда-нибудь, умирая, как Семенов, он будет мучительно, невыносимо жалеть не о том, что люди не сделались благодаря ему счастливыми, не о том, что идеалы, перед которыми он благоговел всю жизнь, останутся не проведенными в мир, а о том, что он умирает, перестает видеть, слышать и чувствовать, не успев в полной мере насладиться всем, что может дать жизнь.

Но ему стало стыдно этой мысли, он сделал над собой усилие и придумал объяснение.

– Жизнь и есть в борьбе!

– Да, но за кого... не за себя ли, не за свою ли долю под солнцем? – грустно заметила тайная мысль. Но Юрий притворился, что не слышит, и стал думать о другом. Но это было трудно и неинтересно, мысль ежеминутно возвращалась на те же круги, и ему было скучно, тяжело и тошно до злых и мучительных слез.

V

Получив записку от Ляли Сварожич, Лида Санина передала ее брату. Она думала, что он откажется, и ей хотелось, чтобы он отказался. Она чувствовала, что ночью при лунном свете на реке ее будет так же властно и сладко тянуть к Зарудину, что это будет жуткое и интересное наслаждение, и вместе с тем ей было стыдно перед братом, что это будет именно с Зарудиным, которого брат, очевидно, презирал от души.

Но Санин сразу и охотно согласился.

Был совершенно безоблачный, теплый и нежаркий день. На небо было больно смотреть, и оно все трепетало от чистоты воздуха и сверкания бело-золотых солнечных лучей.

– Кстати, там барышни будут, вот и познакомишься... – машинально сказала Лида.

– А, это хорошо! – сказал Санин. – И притом погода самая благодатная. Едем.

В назначенное время подъехали Зарудин и Танаров на широкой эскадронной линейке, запряженной парюю рослых лошадей из полкового обоза.

– Лидия Петровна, мы ждем! – весело закричал Зарудин, весь чистый, белый и надушенный.

Лида, одетая и легкое светлое платье, с розовым бархатным воротником и таким же широким поясом, сбегала с крыльца и подала Зарудину обе руки. Зарудин на мгновение выразительно задержал ее перед собой, оглядывая ее фигуру быстрым и откровенным взглядом.

– Едем, едем, – понимая его взгляд и стыдясь и возбуждаясь им, закричала Лида.

И через несколько времени линейка быстро катилась по мало проторенной степной дороге, пригибая к земле жесткие стебли полевой травы, которая, выпрямляясь, хлестала по ногам. Свежий степной ветер легко шевелил волосы и бежал по обе стороны дороги в мягких волнах травы.

На выезде из города они догнали другую линейку, в которой сидели Ляля и Юрий Сварожичи, Рязанцев, Новиков, Иванов и Семенов. Им было тесно и неудобно и оттого весело, и настроены все были дружелюбно. Одному Юрию Сварожичу, после вчерашнего разговора с Семеновым, было немного неловко с ним. Ему казалось странным и даже немного неприятным, что Семенов острит и смеется так же беззаботно, как и все. Юрий не мог понять, как может Семенов смеяться после всего того, что было им говорено вчера.

– Рисовался он тогда, что ли? – думал Юрий, искоса поглядывая на больного студента. – Или он вовсе не так уж болен?

Но он сам смутился своей мысли и постарался забыть ее.

Из обеих линеек посыпались перекрестные остроты и приветствия. Новиков, дурачась, соскочил со своей линейки и побежал по траве возле Лиды. Между ними как-то установилось молчаливое соглашение преувеличенно выказывать дружбу. И оба были чересчур шутливы и дружески дерзки.

Все больше выясняясь и вырастая, показалась гора, на которой блестели главы и белели стены монастыря. Вся гора была покрыта рощей и казалась курчавой от зеленых верхушек дубов. Те же дубы росли на островах и внизу под горою, и между ними текла широкая и спокойная река.

Лошади, свернув с накатанной дороги, покатали по мягкой и сочной луговой траве, низко пригибая ее колесами и мягко чавкая копытами по сырой земле. Запахло водою и дубовым лесом.

В условленном месте, на особенно всем нравящейся лужайке, на траве и на разостланных ковриках, уже ожидали раньше приехавшие студент и две барышни в малороссийских костюмах, которые со смехом готовили чай и закуску.

Лошади, фыркая и помахивая хвостами от мух, остановились, и все приехавшие, оживленные дорогой, воздухом и запахом воды и леса, разом высыпали из обеих линеек.

Ляля стала звонко целоваться с двумя готовившими чай барышнями. Лида поздоровалась сдержанно и представила им своего брата и Юрия Сварожича. Барышни смотрели на них с молодым тайным любопытством.

– Да вы и между собой, кажется, незнакомы, – вдруг спохватилась Лида. – Это мой брат, Владимир Петрович, а это – Юрий Николаевич Сварожич.

Санин, улыбаясь, мягко и сильно пожал руку Юрию, который не обратил на него никакого внимания. Санину был интересен всякий человек, и он любил встречаться с новыми людьми, а Юрий был убежден, что интересных людей мало, и потому всегда был равнодушен к новым знакомствам.

Иванов уже немного знал Санина, и то, что он о нем слышал, ему понравилось. Он с любопытством посмотрел на Санина и первый подошел и заговорил с ним. Семенов равнодушно подал ему руку.

– Ну, теперь можно и веселиться! – закричала Ляля. – Со скучными обязанностями покончено!

Сначала всем было неловко, потому что многие видели друг друга в первый раз. Когда же стали закусывать и мужчины выпили по несколько рюмок водки, а женщины – вина, неловкость исчезла, и стало весело. Много пили, смеялись, остряли – и иногда очень удачно, – бегали взапуски и лазили по горе. Лес был так зелен и красив, везде было так тихо, светло и ярко, что ни у кого не осталось на душе ничего темного, заботного и злого.

– Вот, – сказал запыхавшийся Рязанцев, – если бы люди побольше так прыгали и бегали, девяти десятых болезней не было бы!

– И пороков тоже, – сказала Ляля.

– Ну, пороков в человеке всегда будет предостаточно, – заметил Иванов, и хотя то, что он сказал, никому не показалось особенно метким и остроумным, смеялись все искренно.

Пока пили чай, солнце стало садиться, и река стала золотой, а между деревьями потянулись длинные косые стрелы красноватого света.

– Ну, господа, на лодки! – крикнула Лида и первая, высоко подобрав платье, пустилась бегом к берегу. – Кто скорее!

И кто бегом, кто более солидно, все потянулись за ней и с хохотом и шалостями стали рассаживаться в большой, пестро раскрашенной лодке.

– Отчаливай! – молодым бесшабашным голосом крикнула Лида.

И лодка легко скользнула от берега, оставляя за собой широкие полосы, плавно расходящиеся к обоим берегам.

– Юрий Николаевич, что же вы молчите? – спросила Лида Сварожича.

– Говорить нечего, – улыбнулся Юрий.

– Неужели? – протянула Лида, закидывая голову и чувствуя, что все мужчины ею любят.

– Юрий Николаевич не любит болтать по пустякам, – начал Семенов, – и ему...

– А, ему надо серьезную тему? – перебила Лида.

– Смотрите, вот серьезная тема! – закричал Зарудин, показывая на берег.

Там, под обрывом, между узловатыми корнями старого покосившегося дуба, чернела узкая и угрюмая дыра, заросшая бурьяном.

– Это что же? – спросил Шафров, который был родом из других мест.

– Пещера здесь, – ответил Иванов.

– Какая пещера?

– А черт ее знает... Говорят, что здесь когда-то была фабрика фальшивых монетчиков. Их всех, как водится, переловили... Ужасно скверно, что это «так водится», – вставил Иванов.

– А то ты бы сейчас фабрику фальшивых двугривенных открыл? – спросил Новиков.

– Зачем?.. Целко-овых, друг, целковых!

– Гм... – произнес Зарудин и слегка пожал плечами. Ему не нравился Иванов, и шуток его он не понимал.

– Да... Ну, переловили, а пещеру забросили. Она завалилась, и теперь туда никто не ходит. Когда я был еще младенцем, я лазил туда. Там довольно интересно.

– Еще бы не интересно! – закричала Лида. – Виктор Сергеевич, пойдите туда... Вы храбрый!

У нее был странный тон, точно теперь, при людях и при свете, она хотела издеваться и мстить Зарудину за то странное и жуткое обаяние, которое производил он на нее вечером, наедине.

- Зачем? - недоумевая, спросил Зарудин.

- Я пойду, - вызвался Юрий и покраснел, испугавшись, что подумают, будто он рисуется.

- Дело - хорошее! - одобрил Иванов.

- Может, и ты пойдешь? - спросил Новиков.

- Нет, я лучше тут посижу. Все засмеялись.

Лодка пристала к берегу, и черная дыра сквозила теперь над самой головой.

- Юрий, не делай, пожалуйста, глупостей, - приставала к брату Ляля. - Ей-богу, глупости!

- Конечно, глупости, - шутя, соглашался Юрий. - Семенов, передайте мне свечу.

- А где я ее возьму?

- Да сзади вас, в корзине!

Семенов флегматично достал из корзины свечу.

- Вы в самом деле пойдете? - спросила одна из барышень, высокая, красивая, с полной грудью девушка, которую Ляля называла Зиной и фамилия которой была Карсавина.

- Конечно, отчего же нет? - притворяясь равнодушным, возразил Юрий и сам припомнил, как таким же равнодушным старался он быть во время опасных партийных походов. Это воспоминание почему-то было ему неприятно.

У входа в пещеру было сыро и темно. Санин заглянул туда и сказал: брр!

Ему было смешно, что Юрий ползет в неприятное, опасное место, потому только, что на него смотрят другие люди.

Юрий зажег свечу, стараясь не смотреть на других. Его уже мучила тайная мысль: не смешон ли он? Казалось, что как будто смешон, но в то же время как-то странно выходило, что не только не смешон, а удивителен, красив и возбуждает в женщинах то таинственное любопытство, которое так приятно и жутко. Он подождал, пока разгорится свеча, и, смеясь, чтобы обеспечить себя от насмешки, шагнул вперед и сразу утонул в темноте. Даже свеча как будто потухла. И всем стало действительно жутко за него и любопытно.

– Смотрите, Юрий Николаевич, – закричал Рязанцев, – там, бывает, волки прячутся!

– У меня револьвер! – глухо отозвался Юрий, и голос его из-под земли прозвучал как-то странно, точно мертвый.

Он осторожно пробирался вперед. Стены были низкие, неровные и сырые, как в большом погребе. Дно то поднималось, то опускалось, и раза два Юрий чуть было не сорвался в какие-то ямы. Он подумал, что лучше воротиться или сесть, посидеть, а потом сказать, что ходил далеко.

Вдруг сзади слышались шаги, скользящие по мокрой глине, и прерывистое дыхание. Кто-то шел за ним. Юрий поднял свечу выше головы.

– Зинаида Павловна! – удивленно вскрикнул он.

– Она самая! – весело отозвалась Карсавина, подбирая платье, чтобы перескочить через яму.

Юрию было приятно, что это она, веселая, полная, красивая девушка. Он смотрел на нее блестящими глазами и улыбался.

– Ну, идемте же дальше! – несколько смущенно предложила девушка.

Юрий послушно и легко пошел вперед, уже совсем не думая об опасности и старательно освещая дорогу только Карсавиной.

Стены пещеры, из коричневой сырой глины, то придвигались, точно с молчаливой угрозой, то отступали и давали дорогу. Местами вывалились целые груды камней и земли, а на месте их чернели глубокие впадины. Громада земли, нависшая над ними, казалась мертвой, и что-то страшное было в том, что она не валится, а висит неподвижно, поддерживаемая своим невидимым могучим законом. Потом все выходы сошлись в одну большую и мрачную пещеру, с тяжелым воздухом.

Юрий обошел ее вокруг, ища выхода, и за ним ходили качающиеся тени и пятна света, гложшего во тьме. Но выходов было несколько и все завалены землей. В одном углу печально догнивали остатки деревянного помоста, напоминая вырытые из земли и брошенные доски старого сгнившего гроба.

– Мало любопытного! – сказал Юрий, невольно, и сам не замечая того, понижая голос. Громада земли давила.

– А все-таки! – прошептала Карсавина, блестящими от огня глазами оглядываясь вокруг. Ей было жутко, и она бессознательно держалась ближе к Юрию, точно отыскивая у него защиты.

И Юрий это заметил, и это было ему приятно, вызывая какую-то умиленную нежность к красоте и слабости девушки.

– Точно заживо погребенные, – продолжала Карсавина, – кажется, крикни... никто не услышит!

– Наверное, – усмехнулся Юрий.

И у него вдруг закружилась голова. Он искоса посмотрел на высокую грудь, едва прикрытую тонкой малороссийской рубашкой, и круглые покатые плечи. Мысль, что, в сущности, она у него в руках, и никто не услышит, была так сильна и неожиданна, что на мгновение у него потемнело в глазах. Но сейчас же он овладел собою, потому что был искренно и непоколебимо убежден, что изнасиловать женщину – отвратительно; а для него, Юрия Сварожича, и совершенно невыносимо. И вместо того чтобы сделать то, чего ему в эту минуту

захотелось больше жизни, от чего силой и страстью загорелось все его тело, Юрий сказал:

- Давайте попробуем.

Странная дрожь в его голосе испугала его, ему показалось, что Карсавина догадается.

- Как? - спросила девушка.

- Я выстрелю, - пояснил Юрий, вынимая револьвер.

- А не обвалится?

- Не знаю, - почему-то ответил Юрий, хотя был убежден, что не обвалится, - а вы боитесь?

- Нет... Ну... стреляйте... - немного отодвигаясь, сказала Карсавина.

Юрий вытянул руку с револьвером и выстрелил. Сверкнула огненная полоска, дым, едкий и тяжелый, мгновенно затянул все кругом, и глухой гул тяжело и сердито пошел по горе. Но земля висела так же неподвижно, как и раньше.

- Только и всего, - сказал Юрий.

- Идем.

Они пошли назад, и когда Карсавина повернулась к Юрию спиной и он увидел ее крутые сильные бедра, опять то же желание пришло к нему, и стало трудно с ним бороться.

- Послушайте, Зинаида Павловна, - сказал Юрий, сам пугаясь своего голоса и вопроса, но притворяясь беззаботным, - вот интересный психологический вопрос: как вы не боялись со мною идти сюда?.. Вы же сами говорите, что если крикнуть, то никто не услышит... А ведь вы меня совсем не знаете...

Карсавина густо покраснела в темноте, но молчала. Юрий дышал тяжело. Ему было жгуче приятно, точно он скользил над какой-то бездной, и в то же время жгуче стыдно.

– Я думала, конечно, что вы порядочный человек... – слабо и неровно пробормотала девушка.

– Напрасно вы так думали! – возразил Юрий, все тешась тем же жгучим ощущением. И вдруг ему показалось, что это очень оригинально, что он говорит с ней так и что в этом есть что-то красивое.

– Я бы тогда... утопилась... – еще тише и еще больше краснея, проговорила Карсавина.

И от этих слов в душе Юрия появилось мягкое жалостливое чувство. Возбуждение сразу упало, и Юрию стало легко.

«Какая славная девушка!» – подумал он тепло и искренно, и сознание чистоты этой теплоты и искренности было так приятно ему, что слезы выступили на его глазах.

Карсавина счастливо улыбнулась ему, гордая своим ответом и его безмолвным, передавшимся ей одобрением. И пока они шли к выходу, девушка со странным волнением думала о том, почему ей было так не обидно, не стыдно, а волнующе приятно, что он спрашивал ее об этом.

VI

Оставшиеся наверху, постояв у пещеры и поострив над Сварожичем и Карсавиной, расселись на берегу. Мужчины закурили папиросы, бросая в воду спички и наблюдая, как расходятся по ней широкие ровные круги. Лида, тихо напевая, ходила по траве и, взявшись за пояс, выделявала какие-то па своими желтыми маленькими ботинками, а Ляля рвала цветы и бросала ими в Рязанцева, целуя его глазами.

- А не выпить ли нам пока что? – спросил Иванов Санина.

- Проникновенная идея, – согласился Санин.

Они спустились в лодку, откупорили пиво и стали пить.

- Пьяницы бессовестные! – сказала Ляля и бросила в них пучком травы.

- Ха-арашо! – с наслаждением произнес Иванов. Санин засмеялся.

- Меня всегда удивляло, что люди так ополчаются на вино, – сказал он, шутя, – по-моему, только пьяный человек и живет, как следует.

- Или как животное, – отозвался Новиков с берега.

- Хоть бы и так, – возразил Санин, – а все-таки пьяный делает только то, что ему хочется... хочется ему петь – поет, хочется танцевать – танцует и не стыдится своей радости и веселья...

- Иногда и дерется, – заметил Рязанцев.

- Бывает. Люди не умеют пить... они слишком озлоблены...

- А ты в пьяном виде не дерешься? – спросил Новиков.

- Нет, – сказал Санин, – я скорее трезвый подерусь, а в пьяном виде я самый добрый человек, потому что забываю много мерзости.

- Не все же таковы, – опять заметил Рязанцев.

- Жаль, конечно, что не все... Только мне до других, право, нет ни малейшего дела.

- Ну так нельзя говорить! – сказал Новиков.

- Почему нельзя? А если это – правда?

- Хорошая правда! - отозвалась Ляля, качнув головой.

- Самая хорошая, какую я знаю, - возразил за Санина Иванов.

Лида громко запела и с досадой оборвала.

- Однако они не торопятся! - сказала она.

- А зачем им торопиться, - возразил Иванов, - торопиться никогда не следует.

- А Зина-то... героиня без страха... и упрека, конечно! - саркастически заметила Лида.

Танаров громко приснул своим собственным мыслям и сконфузился.

Лида посмотрела на него, подбоченившись и упруго покачиваясь всем телом.

- Что ж, может быть, им там и очень весело! - загадочно прибавила она, пожимая плечом.

- Тс! - перебил Рязанцев.

Глухой гул вырвался из черной дыры.

- Выстрел! - крикнул Шафров.

- Что это значит? - плаксиво спрашивала Ляля, цепляясь за рукав Рязанцева.

- Успокойтесь, если это и волк, так они в это время смирные... да на двоих и не нападут... - успокаивал ее Рязанцев, с досадой на Юрия и его мальчишескую выдумку.

- Э, ей-богу! - тоже с досадой крякнул Шафров.

- Да идут, идут... не волнуйтесь! - презрительно скривив губы, сказала Лида.

Послышался приближающийся шорох, и скоро из темноты вынырнули Карсавина и Юрий.

Юрий потушил свечу и улыбнулся всем ласково и нерешительно, потому что не знал еще, как они отнеслись к его выходке. Он весь был осыпан желтой глиной, а у Карсавиной сильно было замарано плечо, которым она задела за стену.

- Ну что? - равнодушно спросил Семенов.

- Довольно оригинально и красиво, - нерешительно, точно оправдываясь, ответил Юрий. - Только проходы далеко не идут, засыпано. Там пол какой-то догнивает.

- А вы выстрел слышали? - оживленно блестя глазами, спрашивала Карсавина.

- Господа, мы уже все пиво выпили, и души наши возвеселились в достаточной мере! - закричал снизу Иванов. - Едем!

Когда лодка опять выбралась на широкое место реки, луна уже взошла. Было удивительно тихо и прозрачно; и в небе, и в воде, вверху и внизу одинаково сверкали золотые огоньки звезд, и казалось, что лодка плывет между двумя бездонными воздушными глубинами. Лес на берегу и в воде был черный и таинственный. Запел соловей. Когда все молчали, казалось, что это поет не птица, а какое-то счастливое, разумное, задумчивое существо.

- Как хорошо! - сказала Ляля, поднимая глаза вверх и кладя голову на круглое теплое плечо Карсавиной.

И потом опять долго молчали и слушали. Свист соловья звонко наполнял лес, отдавался трелью над задумчивой рекой и несся над лугами, где в лунном тумане чутко застыли травы и цветы, вдаль и вверх к холодному звездному небу.

- О чем он поет? - опять спросила Ляля, как будто нечаянно роняя руку ладонью вверх на колено Рязанцева, чувствуя, как это твердое и сильное колено вздрогнуло, и пугаясь, и радуясь этому движению.

– О любви, конечно! – полушутливо, полусерьезно ответил Рязанцев и тихонько накрыл рукой маленькую теплую и нежную ладонь, доверчиво лежавшую у него на коленях.

– В такую ночь не хочется думать ни о добре, ни о зле, – сказала Лида, отвечая собственным мыслям.

Она думала о том, дурно или хорошо она делает, наслаждаясь жуткой и влекущей игрой. И, глядя на лицо Зарудина, еще более мужественное и красивое при лунном свете, темным блеском отливающим в его глазах, она чувствовала ту же знакомую сладкую истому и жуткое безволие во всем существе своем.

– А совсем о другом! – ответил ей Иванов.

Санин улыбался и не сводил глаз с высокой груди и красивой белеющей от луны шеи сидящей против него Карсавиной.

На лодку набежала темная легкая тень горы, и, когда лодка, оставляя за собой голубые серебристые полосы, опять выскользнула на освещенное место, показалось, что стало еще светлее, шире и свободнее.

Карсавина сбросила свою широкую соломенную шляпу и, еще больше выставив высокую грудь, запела. У нее был высокий, красивый, хотя и небольшой голос. Песня была русская, красивая и грустная, как все русские песни.

– Очень чувствительно! – пробормотал Иванов.

– Хорошо! – сказал Санин.

Когда Карсавина кончила, все захлопали, и хлопки странно и резко отозвались в темном лесу и над рекой.

– Спой еще, Зиночка! – приставала Ляля. – Или лучше прочти свои стихи...

– А вы и поэтесса? – спросил Иванов. – Ско-олько может Бог одному человеку поэзии отпустить!

- А разве это плохо? – смущенно шутя, спросила Карсавина.

- Нет, это очень хорошо, – отозвался Санин.

- Ежели, скажем, девица юная и прелестная, то кому же оно! – поддержал Иванов.

- Прочти, Зиночка! – упрашивала Ляля, вся нежная и горящая от любви.

Карсавина, смущенно улыбаясь, слегка отвернулась к воде и, не ломаясь, прочла тем же звучным и высоким голосом:

Милый, милый, тебе не скажу я,

Не скажу, как тебя я люблю.

Закрываю влюбленные очи —

Берегут они тайну мою...

Этой тайны никто не узнает...

Знают только тоскливые дни,

Только тихие синие ночи,

Только звезд золотые огни,

Только тонкие светлые сети

В сказки ночи влюбленных ветвей.

Знают все... Но не скажут, не скажут

О любви затаенной моей...

И все опять пришли в восторг и хлопали Карсавиной с ожесточением не потому, что стихи ее были хороши, а потому, что всем было хорошо и хотелось любви, счастья и сладкой грусти.

– Ночь, день и очи Зинаиды Павловны, будьте столь великодушны: сообщите, не я ли сей счастливец! – вдруг возопил Иванов так громко и неожиданно и таким диким басом, что все вздрогнули.

– Это и я тебе могу сказать, – отозвался Семенов, – не ты!

– Увы мне! – провыл Иванов. Все смеялись.

– Плохи мои стихи? – спросила Карсавина Юрия.

Юрий подумал, что они очень не оригинальны и похожи на сотни подобных стихов, но Карсавина была так красива и так мило смотрела на него своими темными, застенчивыми глазами, что он сделал серьезное лицо и ответил:

– Мне показались звучными и красивыми.

Карсавина улыбнулась ему и сама удивилась, что похвала его оказалась так приятна ей.

– Ты еще не знаешь мою Зиночку, – сказала Ляля с искренним восторгом, – она вся звучная и красивая.

– Ишь ты! – удивился Иванов.

– Право, – точно оправдываясь, настаивала Ляля, – голос у нее звучный и красивый, сама она – красавица, стихи у нее звучные и красивые... и даже фамилия – красивая и звучная!

– Ух, ты, Боже мой! Шик, блеск и аромат, будем так говорить! – восхитился Иванов. – А впрочем, я с этим совершенно согласен.

– Пора домой! – резко сказала Лида, которой были неприятны похвалы Карсавиной. Она считала себя и красивее, и интереснее, и умнее ее.

– А ты, не споешь? – спросил Санин.

– Нет, – сердито ответила Лида, – я не в голосе.

И в самом деле – пора, – согласился Рязанцев, вспоминая, что завтра надо рано вставать, ехать в больницу и на вскрытие.

А всем остальным было жаль уезжать.

Когда ехали домой, все были молчаливы и чувствовали удовлетворенную томную усталость.

Опять, но теперь уже невидимая, щелкала по ногам степная трава, смутно белела позади поднятая колесами пыль и быстро ложилась на белую дорогу. Поля, голубоватые от лунной дымки, казались ровными, пустынными и бесконечными.

VII

Дня через три, поздно вечером Лида вернулась домой усталая и несчастная. У нее была тоска, куда-то тянуло, и она и не знала и знала – куда.

Войдя в свою комнату, она остановилась и, сжав руки, долго, бледнея, смотрела в поле.

Лида вдруг с ужасом поняла, как далеко зашла, отдавшись Зарудину. Она впервые почувствовала, что с того непоправимого и непонятого момента, в этом, очевидно, бесконечно ниже ее, глупом и пустом офицере появилась какая-то унижительная власть над нею. Она теперь не могла не прийти, если он потребует этого, уже не играла по своему капризу, то отдаваясь его поцелуям, то отстраняя и смеясь, а безвольно и покорно, как раба, отдавалась самым грубым его ласкам.

Как это случилось, она не могла понять: так же, как всегда, она владела им, и ласки его были подчинены ей, так же было приятно, жутко и забавно, и вдруг был один момент, когда огонь во всем теле ударил в голову каким-то беловатым туманом, в котором потонуло все, кроме жгучего, толкающего в бездну

любопытного желания. Земля поплыла под ногами, тело стало бессильно и покорно, перед нею остались только темные, горящие, и страшные, и бесстыдные, и влекущие глаза, ее голые ноги бесстыдно и мучительно страстно вздрагивали от властного прикосновения обнажающих грубых рук, хотелось еще и еще этого любопытства, этого бесстыдства, боли и наслаждения.

Лида вся задрожала от этого воспоминания, повела плечами и закрыла лицо руками.

Она, пошатываясь, прошла через комнату, открыла окно, долго глядела на луну, стоявшую прямо над садом, и слушала, сама того не замечая, певшего где-то далеко, в соседних садах одинокого соловья. Тоска ее давила. В душе была странная и мучительная смесь смутного желания и тоскующей гордости, при мысли, что она испортила себе жизнь для пустого и глупого человека, что ее падение – глупо, гадко и случайно. Что-то грозное начало вставать впереди. Она старалась разогнать набегающие тревожные предчувствия будущего упрямой и злой бравадой.

– Ну сошлась и сошлась! – сжимая брови и с каким-то болезненным наслаждением произнося это грубое слово, думала она. – Все это пустяки!.. Захотела и отдалась!.. А все-таки была счастлива, было так... – Лида вздрогнула и, вытянув вперед сжатые руки, потянулась. – И было бы глупо, если бы не отдалась!.. Не надо думать об этом... все равно не вернешь!

Она с усилием отошла от окна и стала раздеваться, развязывая шнурки юбок и спуская их тут же на пол.

«Что ж... Жизнь дана только один раз, – думала она, вздрагивая от свежего воздуха, мягко касавшегося ее голых плеч и рук. – Что я выиграла бы, если бы дожидалась законного брака?.. Да и зачем он мне?.. Но все ли равно, неужели я настолько глупа, чтобы придавать этому значение... Глупости!..» – Вдруг ей показалось, что и в самом деле все это пустяки, что с завтрашнего дня всему этому конец, что она взяла в этой игре то, что в ней было интересного, а теперь вольна, как птица, и впереди еще много жизни, интереса и счастья.

– Захочу – полюблю, захочу – разлюблю... – тихо пропела Лида и, прислушиваясь к звуку своего голоса, с удовольствием подумала, что у нее голос лучше, чем у Карсавиной.

– Да, все глупости... Захочу, так и черту отдамся! – с грубым и внезапным для нее самым порывом ответила вдруг она своим смутным мыслям и, закинув голые руки за голову, сильно и порывисто выпрямилась, так, что грудь вздрогнула.

– Ты еще не спишь, Лида? – спросил голос Санина за окном. Лида испуганно вздрогнула, но сейчас же улыбнулась, накинула на плечи большой платок и подошла к окну.

– Как ты меня испугал... – сказала она.

Санин подошел и положил локоть на подоконник. Глаза у него блестели, и он улыбался.

– Вот это уже напрасно! – весело и тихо сказал он. Лида вопросительно повела головой.

– Без платка ты была гораздо лучше... – пояснил он так же тихо и выразительно.

Лида недоумевающе повернулась к нему и инстинктивно завернулась плотнее в платок.

Санин засмеялся. Лида смущенно облокотилась грудью на подоконник и выставила голову за окно, Санин дышал ей в щеку.

– Ты – красавица! – сказал он.

Лида быстро взглянула на него и испугалась того, что почудилось ей в выражении его лица. Она порывисто отвернулась в сад и всем телом почувствовала, что Санин смотрит на нее как-то особенно. И это показалось ей так ужасно и гадко, что у нее похолодело в груди и вздрогнуло сердце. Точно так же на нее смотрели все мужчины, и это нравилось ей, но с его стороны почему-то было невероятно, невозможно. Она сделала над собой усилие и улыбнулась.

– Я знаю...

Санин молчал и смотрел на нее. Когда она облокотилась на окно, рубашка и платок опустились, и сбоку была видна верхняя часть освещенной луной белой и неуловимо нежной груди.

– Люди постоянно ограждают себя от счастья китайской стеной, – сказал Санин, и его дрожащий и тихий голос был странен и еще больше, почти до ужаса, испугал Лиду.

– Как? – беззвучно спросила она, не отрывая глаз от темного сада и боясь встретиться с ним взглядом. Ей казалось, что тогда произойдет то, чего даже возможности нельзя допустить.

И в то же время она уже не сомневалась и знала, и ей было страшно, гадко и интересно. Голова у нее горела, и она ничего не видела перед собой, с ужасом, омерзением и любопытством ощущая на щеке горячее и напряженное дыхание, от которого у нее шевелились волосы на виске и мурашки пробежали по голой спине под платком.

– Да так... – ответил Санин, и голос его сорвался.

Лида почувствовала, точно молния пробежала по всему ее телу, она быстро выпрямилась и, сама не замечая, что делает, нагнулась к столу и разом потушила лампу.

– Пора спать! – сказала она и потянула к себе окно. Когда лампа потухла, на дворе стало светлее, и отчетливо показалась фигура Санина и его лицо, освещенное синим светом луны. Он стоял в глубокой росистой траве и смеялся.

Лида отошла от окна и машинально опустилась на кровать. Все в ней дрожало и билось, и мысли путались. Она слышала шаги Санина, уходившего по шуршащей траве, и прижимала рукой колотившееся сердце.

«Что я, с ума сошла, что ли? – с омерзением подумала она. – Какая гадость! Случайная фраза, а я уже... Что это, эротомания? Неужели я гадкая, испорченная!.. Как низко надо пасть, чтобы подумать...»

И вдруг Лида, уткнувшись головой в подушку, тихо и горько заплакала.

«Чего же я плачу?» – спрашивала она себя, не понимая причины своих слез и только чувствуя себя несчастной, жалкой и униженной. Она плакала о том, что отдалась Зарудину, и о том, что уже она не прежняя, гордая и чистая, и о том, что ей показалось страшного и обидного в глазах брата. Она подумала, что раньше он не мог бы смотреть на нее так, а это потому, что она пала.

Но одно чувство было сильнее, горьче и понятнее ей: стало больно и обидно, что она – женщина и что всегда, пока она будет молода, сильна, здорова и красива, лучшие силы ее пойдут на то, чтобы отдаваться мужчинам, доставлять им наслаждение и тем больше презираться ими, чем больше наслаждения она доставит им и себе.

«За что? Кто дал им это право... Ведь я такой же свободный человек... – спрашивала Лида, напряженными глазами глядя в тусклую тьму комнаты. – Неужели я никогда не увижу другой, лучшей жизни!»

Все ее молодое сильное тело властно говорило о том, что она имеет право брать от жизни все, что интересно, приятно, нужно ей, и что она имеет право делать все, что хочет, со своим, ей одной принадлежащим, прекрасным, сильным, живым телом.

Но мысль билась в каких-то спутанных сетях, рвалась в тисках и падала бессильно и тоскливо.

VIII

Юрий Сварожич давно занимался живописью, любил ее и отдавал ей все свободное время. Когда-то он мечтал сделаться художником, но сначала отсутствие денег, а потом партийная деятельность загородили ему путь, и теперь он занимался искусством только порывами и без определенной цели.

И оттого, что у него не было определенной цели и не было школы, живопись не доставляла ему приятного удовлетворения, а возбуждала в нем тоску и разочарование. Каждый раз, когда работа не давалась ему, Юрий раздражался и страдал, а когда удавалась, он впадал в тихую и мечтательную задумчивость,

исходившую из смутного сознания, что все это бесполезно и не дает ему успеха и счастья.

Юрию очень понравилась Карсавина. Он любил таких высоких, красиво крупных и полных женщин, с красивыми голосами и нежными, немного сентиментальными глазами. Все то, что он думал о ее симпатичности, чистоте и душевной глубине, передавалось ему через ее красоту и нежность, и почему-то Юрий не признавался себе в этом и старался уверить самого себя, что девушка нравится ему не плечами, грудью, глазами и голосом, а именно своею девственностью и чистотой. И думать так ему казалось легче, благороднее и красивее, хотя чистота и девственность было именно тем, что волновало его, зажигая кровь и возбуждая желание. С первого же вечера в нем выросла смутная, знакомая ему, но еще не сознаваемая на этот раз жестокая жажда лишить ее чистоты и невинности, как выростала эта неумолимая жажда и при виде всех красивых женщин.

Потому, что его мысли теперь занимала красивая и здоровая девушка, полная радостной солнечной жизни, Юрию пришло в голову написать жизнь. Он, как всегда легко воспламеняясь, пришел в восторг от своей идеи, и ему показалось, что на этот раз он непременно справится с задачей до конца.

Подготовив большое полотно, Юрий с лихорадочной поспешностью, точно боясь опоздать, принялся за картину. Когда он клал первые мазки и на полотне были только красивые сочные пятна, все внутри его дрожало восторгом и силой, и его будущая картина во всех подробностях легко и интересно вставала перед ним. Но чем дальше подвигалась работа, тем больше и больше возникало технических трудностей, которые Юрий не мог преодолеть. То, что в воображении представлялось ему ярким, сильным и прекрасным, на полотне выходило плоским и бессильным. И уже подробности не прельщали его, а сбивали и раздражали. Юрий перестал останавливаться на них и стал писать широко и небрежно, но тогда, вместо яркой и могучей жизни, начала выясняться пестро и небрежно наляпанная, грубая женщина. В ней уже не было ничего, что казалось Юрию оригинальным и прекрасным, а все было вяло и шаблонно. И тогда Юрий увидел, что картина его неоригинальна, что он просто подражает картинам Мухи и что самая идея картины банальна.

И Юрию, как всегда, стало тяжело и грустно.

Если бы он почему-то не думал, что плакать стыдно, он бы заплакал, лег бы в подушку лицом и стал бы хныкать и жаловаться кому-то и на что-то, но не на свое бессилие. Но вместо того он угрюмо сидел перед картиной и думал, что жизнь вообще скучна, мутна и бессильна, что в ней нет ничего, что еще могло бы интересовать его, Юрия. Тут он с ужасом представил себе, что еще много лет придется, быть может, прожить тут в городке.

«Тогда смерть!» – с холодком на лбу подумал Юрий.

И ему захотелось нарисовать смерть. Он взял нож и с какой-то тяжелой для него самой злобой стал счищать свою «Жизнь». Его раздражало, что то, над чем он с таким восторгом трудился, исчезает с трудом. Краска отставала неохотно, нож мазал, соскакивал и два раза врезался в полотно. Потом оказалось, что уголь не рисует по масляной поверхности, и это причинило Юрию острое страдание. Он взял кисть и стал рисовать прямо коричневой краской, а потом опять стал писать, медленно, небрежно, с тяжелым, грустным чувством. Картина, которую он теперь задумал, не теряла, а выигрывала от его небрежности и от тусклого, тяжелого тона красок. Но первоначальная идея смерти почему-то сама собою исчезла, и Юрий рисовал уже «Старость». Он писал ее в виде изможденной, костлявой старухи, бредущей по избитой дороге, в тихие и печальные сумерки. На горизонте погасала последняя заря, и в ее зеленоватом зареве чернели кресты и неопределенные темные силуэты. На спину старухи страшной тяжестью налегал тяжелый, черный гроб и давил ее костлявые плечи. И взор у старухи был мутный, безотрадный, и одна нога ее уже стояла на краю черной ямы. Вся картина была сумеречная, грустна и зловеща.

Юрия звали обедать, но он не пошел и все писал. Потом пришел Новиков и стал что-то рассказывать, но Юрий не слушал и не отвечал.

Новиков вздохнул и улегся на диван. Он был рад молчать и думать и к Сварожичу пришел только потому, что не любил сидеть дома один. Он был грустно и мучительно расстроен. Отказ Лиды все еще давил его, и нельзя было разобрать, стыдно ли ему или грустно. Он был очень правдив и ленив и не поймал тех сплетен о Лиде и Зарудине, которые уже мутно всплывали в городке. Лиду он ни к кому не ревновал, а только страдал от разрушенной мечты, которая одно время казалась ему так близка и ярка, что он уже был счастлив.

Новиков стал думать, что все в жизни для него испорчено, но ему все-таки не приходило в голову, что если это так, то и жить не стоит и надо умереть.

Наоборот, он думал о том, что теперь, когда его собственная жизнь стала одним мучением, его долг, перестав заботиться о личном счастье, посвятить свою жизнь другим людям. Он не мог отдать себе отчета, из чего это вытекает, но уже смутно решил бросить все и ехать в Петербург, возобновить сношения с партией и броситься очертя голову на смерть, мысль эта показалась ему высокой и прекрасной, а сознание того, что прекрасная, высокая мысль – его мысль, смягчило грусть и обрадовало его. Собственный образ вырастал в его глазах, окруженный милым, светлым, грустным ореолом, и невольный печальный укор Лиде чуть не заставил его заплакать.

Потом ему стало скучно. Сварожич все писал и не обращал на него никакого внимания. Новиков лениво встал и подошел.

Картина была не окончена, но именно потому и производила впечатление какого-то сильного намека. Пока это было то, чего Юрий не смог бы окончить.

Новикову картина показалась чудной. Он даже слегка разинул рот и посмотрел на Юрия с наивным детским восторгом.

– Ну что? – спросил Юрий, отодвигаясь.

Ему самому казалось, что хотя картина, конечно, не лишена недостатков и недостатки эти даже, пожалуй, очевидны и велики, но все-таки она интереснее всех картин, какие он когда-либо видел. Почему это так, Юрий не отдавал себе отчета, но если бы Новиков сказал, что картина плоха, он искренно обиделся и огорчился бы. Но Новиков тихо и восторженно сказал:

– Оч-чень хорошо!

И Юрий почувствовал себя гением, презирающим свое создание. Он красиво вздохнул, швырнул кисти, измазав угол кушетки, и отошел, не глядя на картину.

– Эх, брат! – сказал он.

Он чуть было не признался себе и Новикову в том смутном сознании, которое вырывало у него радость удачи, то есть в том, что он все равно ничего не сумеет сделать из этого удачного наброска. Но вместо того он подумал и сказал вслух:

– Ни к чему это все!

Новиков подумал, что Юрий рисуется, но сейчас же его собственная разочарованная грусть кольнула его в сердце, и он подумал: «И правда».

Но, помолчав, возразил:

– Как, к чему?

Юрий не мог точно ответить на этот вопрос и промолчал. Новиков еще немного посмотрел на картину и лег на диван.

– А я, брат, прочел твою статью в «Крае», – заговорил он опять, – здорово!..

– Ну ее к черту! – с досадой, непонятной ему самому, и припоминая слова Семенова, отозвался Юрий: – Что я ей сделаю?.. Так же будут казнить, грабить, насильничать... Тут не статьями надо действовать! Я жалею, что написал... Да и что? Ну прочтут ее два-три идиота, что из того?.. Какое мне, в конце концов, дело?.. Чего биться головой в стену, спрашивается!

Перед глазами Юрия прошли первые годы его увлечения партийной работой: конспиративные собрания, пропаганда, риск и неудачи, собственный восторг и полное равнодушие именно тех, которых он хотел спасти. Он прошелся по комнате и махнул рукой.

– С этой точки зрения и ничего делать не стоит, – протянул Новиков и, вспомнив Санина, прибавил: – Эгоисты вы все, только и всего!

– Да и не стоит, – под влиянием тех же воспоминаний и сумерек, которые начали уже бледнеть все в комнате, горячо и искренно заговорил Юрий. – Если говорить о человечестве, то что значат все наши усилия, конституции и революции, когда мы даже не можем представить себе приблизительно перспектив, ожидающих человечество... Быть может, в той самой свободе, о которой мы мечтаем, заложены начала разрушения, и человек, достигши своего идеала, пойдет назад и опять встанет на четвереньки... Для того, чтобы начать все сначала?.. А если думать даже только о себе, то... то чего я могу добиться? В самом лучшем случае я могу своими талантами и делами стяжать себе славу, упиться

почтением людей, еще ниже и ничтожнее меня, то есть именно тех, которых я не могу уважать, и до почтения которых, в сущности, мне и дела не должно быть... А потом жить, жить, до могилы... не дальше! И лавровый венок под конец так прирастет к лысому черепу, что даже надоест...

- Только о себе! - притворно насмешливо пробормотал Новиков. - Так!

Но Юрий не расслышал и продолжал, с грустью и болезненным удовольствием прислушиваясь к своим собственным словам, которые казались ему мрачными и красивыми и возбуждали в нем самолюбивое подъемное чувство:

- А в худшем случае, буду непризнанным гением, смешным мечтателем, объектом для юмористических рассказов... нелепым, никому не нужным...

- Ага! - с торжеством перебил Новиков и даже привстал, - «никому не нужным» - значит, ты сам сознаешь!

- Странный ты человек, - в свою очередь перебил его Юрий, - неужели ты думаешь, что я не знаю, для чего можно жить и во что можно верить!.. Я, быть может, и на крест пошел бы с радостью, если бы я верил, что моя смерть спасет мир!.. Но этой веры у меня нет: что бы я ни сделал, в конечном итоге я ничего не изменю в ходе истории, и вся польза, которую я могу принести, будет так мала, так ничтожна, что, если бы ее и вовсе не было, мир ни на йоту не потерпел бы убыли. А между тем для этой меньше чем йоты я должен жить и страдать и мучительно ждать смерти!

Юрий не заметил, что он говорит уже о чем-то другом, отвечая не на слова Новикова, а на свои странные и тяжелые чувства. Он вдруг остановился опять, внезапно вспомнив Семенова, и почувствовал, что по спине пробежало гадливое и холодное ощущение ужаса.

- Знаешь, меня мучает эта неизбежность, - тихо и доверчиво сказал он, машинально глядя в потемневшее окно, - я знаю, что это естественно, что ничего против этого я сделать не могу, но это ужасно и безобразно!

Новиков почувствовал, что это так, и ему стало грустно и страшно, но все-таки он возразил:

– Смерть – полезное физиологическое явление...

«Вот дурак!» – с бешенством подумал Юрий и с раздражением возразил:

– Ах, Боже мой!.. Да какое нам дело, принесет ли наша смерть кому-нибудь пользу или нет!

– А твоя крестная смерть!

– То другое дело, – нерешительно и мгновенно остывая, возразил Юрий.

– Ты сам себе противоречишь, – с чувством превосходства заметил Новиков, великодушно не глядя на Юрия.

Юрий поймал этот тон и весь загорелся. Он стал ворошить свои черные упрямые волосы и злиться.

– Никогда я себе не противоречу... Это вполне понятно, если я умираю сам, по своему собственному желанию...

– Все одно, – продолжал, но сдаваясь, тем же тоном Новиков, – вам всем просто хочется фейерверка, аплодисментов... Эгоизм это все!..

– Ну и пусть... это не меняет дела...

Разговор спутался. Юрий почувствовал, что действительно вышло что-то не так, и не мог поймать нити, которая еще несколько минут назад казалась ему натянутой, как струна. Он походил по комнате, сердито дыша, и, успокаивая себя, подумал, как всегда в таких случаях:

– Бывает иногда, что я как-то не в ударе... иной раз говоришь ясно, точно все перед глазами стоит, а иной раз точно вот кто-то связал во рту язык... все выходит нескладно... грубо... Это бывает!

Они помолчали. Юрий походил по комнате, постоял у окна и взялся за фуражку.

– Пойдем пройдемся, – сказал он.

– Пойдем, – согласился Новиков, с тайной надеждой и страхом и радостью думая о том, что они могут случайно встретить Лиду Санину.

IX

Они прошли по бульвару раз и другой, не встретив знакомых, и слушали музыку, по обыкновению игравшую в саду. Играла она нестройно и фальшиво, но издали казалась нежной и грустной. Навстречу им все попадались мужчины и женщины, заигрывавшие друг с другом. Их смех и громкие, возбужденные голоса не шли к тихой грустной музыке и тихому грустному вечеру и раздражали Юрия. В самом конце бульвара к ним подошел Санин и весело поздоровался. Юрию он не нравился, и поэтому разговор не вязался. Санин смеялся надо всем, что попадалось им на глаза, потом встретил Иванова и ушел с ним.

– Куда вы? – спросил Новиков.

– Угостить друга хочу! – отвечал Иванов, достал из кармана и торжественно показал бутылку водки.

Санин весело засмеялся.

Юрию и эта водка, и этот смех показались неестественными и пошлыми, и он брезгливо отвернулся. Санин это заметил, но не сказал ничего.

– Благодарю, мол, тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь! – двусмысленно усмехаясь, пробасил Иванов.

Юрий покраснел.

«Тоже... острит еще!» – подумал он, презрительно, пожал плечами и отошел.

– Новиков, бессознательный фарисей, пойдем с нами! – пристал Иванов...

– Какого черта?

– Водку пить!

Новиков тоскливо оглянул бульвар, но Лиды не было видно нигде.

– Лида дома сидит и в своих грехах кается, – улыбаясь, заметил Санин.

– Глупости, – обидчиво пробормотал Новиков, – у меня больной...

– Который умрет и без твоей помощи, – отозвался Иванов. – Впрочем, и водку мы можем выпить без твоего содействия.

«Напиться, что ли!» – с горечью подумал Новиков и сказал:

– Ну ладно... пойдём!

Они ушли, и Юрию еще долго слышен был грубый бас Иванова и беззаботно-ласковый смех Санина.

Он опять пошел вдоль бульвара. Его окликнули женские голоса. Зина Карсавина и учительница Дубова сидели на одной из бульварных скамеек. Было уже совсем темно, и из тени едва виднелись их фигуры, в темных платьях, без шляп и с книгами в руках. Юрий быстро и охотно подошел.

– Откуда? – спросил он, здороваясь.

– В библиотеке были, – ответила Карсавина.

Дубова молча подвинулась, очищая возле себя место, и хотя Юрию хотелось сесть возле Карсавиной, но было неловко, и он сел рядом с некрасивой учительницей.

– Отчего у вас такое мрачно-раздирающее лицо? – спросила Дубова, по привычке язвительно кривя свои тонкие, сухие губы.

– С чего вы взяли, мрачное? Самое веселое. А впрочем, и вправду, скучно что-то...

– Делать вам, видно, нечего, – насмешливо возразила Дубова.

– А вам есть что делать?

– Да, плакать некогда.

– Я и не плачу.

– Ну, хнычете... – шутила Дубова.

– Так уж жизнь моя сложилась теперь, что я и смеяться разучился.

В голосе его прорвались такие горькие нотки, что все невольно примолкли. Юрий помолчал и улыбнулся.

– Один мой приятель говорил мне, что жизнь моя назидательна, – сказал он, хотя никто этого не говорил.

– В каком смысле? – спросила Карсавина осторожно.

– В смысле того, как не следует жить человеку.

– А, ну расскажите. Авось и мы извлечем какую-нибудь пользу из этого примера... – предложила Дубова.

Юрий свою жизнь считал исключительно неудачной, а себя исключительно несчастным человеком. В этом было какое-то грустное удовлетворение, и было приятно жаловаться на свою жизнь и людей. С мужчинами он никогда не говорил об этом, инстинктивно чувствуя, что они ему не поверят, но с женщинами, особенно молодыми и красивыми, охотно и подолгу говорил о себе. Он был красив и хорошо говорил, и женщины всегда проникались к нему жалостью и влюбленностью.

И на этот раз, начав с шутки, Юрий легко вошел в привычный тон и долго говорил о своей жизни. По его словам выходило так, что он, человек огромной силы, заеден средой и обстоятельствами, что его не поняли в партии и что в том, что из него вышел не вождь народа, а обыкновенный высланный по ничтожной причине студент, виновата роковая случайность и людская глупость, а не он сам. Юрию, как всем людям с большим самолюбием, не приходило в голову, что это не доказывает его исключительной силы и что всякий гениальный человек окружен такими же случайностями и людьми. Ему казалось, что только его одного преследует тяжелый и неодолимый рок.

И так как он рассказывал очень красиво, живо и ярко, то выходило похоже на правду, и девушки верили ему, жалели и грустили вместе с ним. Музыка играла все так же нестройно, но жалобно, вечер был темный, задумчивый, и им всем было мечтательно-грустно. Когда Юрий замолчал, Дубова, отвечая на свои собственные думы о том, что ее жизнь скучна, однообразна и что скоро она уже состарится, не испытав счастья и любви, тихо спросила:

– Скажите, Юрий Николаевич, вам никогда не приходила в голову мысль о самоубийстве?

– Почему вы меня спрашиваете об этом?

– Так.

Они помолчали.

– Вы, значит, были в комитете? – с любопытством спросила Карсавина.

– Да, – коротко и как будто неохотно ответил Юрий, но ему было приятно признаться в этом, потому что он думал, будто это придает ему какой-то мрачный интерес в глазах красивой и молодой девушки.

Потом Юрий проводил их домой. Дорогой много говорили и смеялись, и уже не было грустно.

– Какой он славный! – сказала Карсавина, когда Юрий ушел.

– Смотри, не влюбись! – погрозила пальцем Дубова.

– Ну вот еще! – с тайным инстинктивным испугом вскрикнула Карсавина.

Юрий пришел домой в возбужденном и хорошем настроении духа. Взглянул на начатую картину, ничего не почувствовал и с удовольствием лег спать. А ночью ему снились сладострастные и солнечные картины, молодые и красивые женщины.

Х

На другой вечер Юрий пошел опять на то место, где он встретился с Карсавиной и Дубовой. Целый день ему было приятно вспоминать проведенный с ними вечер, и хотелось опять встретиться, поговорить о том же и опять увидеть то же выражение участия и ласки в веселых и нежных глазах.

Вечер был совершенно ясный, тихий, жаркий. В воздухе над улицами стояла мелкая сухая пыль, и на бульваре никого не было, кроме случайных редких прохожих.

Юрий сердито тряхнул головой на досадное чувство, поднявшееся у него в груди, точно его кто-то обидел, и медленно пошел по бульвару, глядя под ноги.

«Скука какая, – подумал он, – что делать?»

Навстречу ему быстрыми шагами, помахивая свободной рукой, шел студент Шафров и еще издали учтиво улыбался ему.

– Что вы тут слоняетесь? – дружелюбно спросил он, останавливаясь и подавая Сварожичу крепкую, широкую ладонь.

– Да скучно что-то и делать нечего. А вы куда? – лениво и пренебрежительно спросил Юрий. Он всегда говорил так с Шафровым, которого, как бывший член комитета, считал наивным студентиком, играющим в революцию.

Шафров счастливо и самодовольно улыбнулся.

– У нас сегодня чтение, – сказал он, показывая пачку тоненьких разноцветных брошюрок.

Юрий машинально взял у него одну брошюрку и, развернув, прочел длинное сухое заглавие популярной социальной статьи, давно им самим прочитанной и забытой.

– Где вы читаете? – спросил Юрий с той же пренебрежительной улыбкой, возвращая брошюрку.

– В городском училище, – ответил Шафров, называя то училище, в котором служили Карсавина и Дубова.

Юрий вспомнил, что Ляля уже говорила ему об этих чтениях, но тогда он не обратил на них внимания.

– Можно мне пойти с вами? – спросил он Шафрова.

– Пожалуйста, – радостно улыбаясь, поспешно согласился Шафров.

Он считал Юрия настоящим деятелем и, преувеличивая его партийную роль, чувствовал к нему почтение, граничащее с влюбленностью.

– Я очень интересуюсь этим делом, – счел нужным прибавить Юрий, с радостью думая о том, что вечер будет занят, и о том, что можно увидеть Карсавину.

– Пожалуйста, пожалуйста, – опять сказал Шафров.

– Ну, так пойдёмте.

И они быстро пошли по бульвару, свернули на мост, по обеим сторонам которого влажно пахло свежестью и водой, и вошли в двухэтажное здание училища, где уже собирались люди.

В большом, еще темном зале, установленном ровными рядами стульев и скамеек, смутно белел экран для волшебного фонаря и слышался сдержанно веселый смех. Около окна, в которое видны были потемневшее небо и верхушки темно-зеленых деревьев, стояли Ляля и Дубова. Они встретили Юрия радостными восклицаниями.

– Вот хорошо, что пришел! – сказала Ляля. Дубова крепко пожала ему руку.

– Что же вы не начинаете? – спросил Юрий, украдкой оглядывая темный зал и не видя Карсавиной. – А Зинаида Павловна не участвует? – неровно и разочарованно прибавил он.

Но в эту минуту на кафедре, возле самого экрана, чиркнула спичка и осветила Карсавину, зажигавшую свечи. Ее красивое и свежее лицо было ярко снизу освещено и весело улыбалось.

– Еще бы я не участвовала, – звонко откликнулась она, сверху протягивая Юрию руку.

Юрий обрадовано, но молча подал ей руку, и она, слегка опираясь на него, мягко соскочила с кафедры, пахнув в лицо Юрию запахом здоровья и свежести.

– Пора начинать, – сказал Шафров, появляясь из другой комнаты.

Сторож, тяжело ступая большими сапогами, прошел по залу, одну за другой зажигая большие, светлые лампы, и зал осветился ярким и веселым светом. Шафров отворил дверь в коридор и громко сказал:

– Пожалуйста, господа!

Послышалось сначала робкое, а потом торопливое топотанье ног, и в двери стали входить люди. Юрий смотрел на них с любопытством: привычный зоркий интерес пропагандиста пробудился в нем. Это были и старые, и молодые люди, и дети. В первом ряду никто не сел, и уже потом его заняли какие-то неизвестные Юрию дамы, толстый смотритель училища и уже знакомые Юрию учителя и учительницы мужской и женской прогимназии. А весь остальной зал затопили люди в чуйках, пиджаках, солдаты, мужики, бабы и много детей в пестрых

рубашках и платьях.

Юрий сел рядом с Карсавиной за стол и стал слушать, как Шафров спокойно, но дурно читал о всеобщем избирательном праве. Голос у него был глухой и негибкий, и все, что он читал, приобретало характер статистической таблицы, но слушали его со вниманием, и только сидевшие в первом ряду интеллигентные люди скоро начали шептаться и шевелиться. Юрию стало досадно на них и жаль, что Шафров дурно читает. И когда студент устал, Юрий тихо сказал Карсавиной:

- Давайте я дочитаю.

Карсавина ласково, как-то сквозь ресницы, взглянула на него.

- Вот и хорошо... Читайте.

- А не неловко? - улыбаясь ей, как заговорщик, спросил Юрий.

- Где же неловко! Все будут рады.

И, воспользовавшись перерывом, она сказала Шафрову. Шафров устал и сам тяготился тем, что читает плохо, он не только согласился, но даже обрадовался.

- Пожалуйста, пожалуйста, - по своей привычке повторил он и уступил место.

Юрий умел и любил читать. Не глядя ни на кого, он прошел на кафедру и начал сильным, звучным голосом. Раза два он оглянулся на Карсавину и оба раза встретил ее блестящий и выразительный взгляд. Смущенно и радостно улыбаясь ей, он поворачивался к книге и начинал читать еще громче и выразительнее, и ему казалось, что он для нее делает какое-то непостижимо хорошее и интересное дело.

Когда он кончил, из первого ряда ему зааплодировали. Юрий серьезно поклонился и, сходя с кафедры, широко улыбнулся Карсавиной, точно хотел сказать ей: «Это для тебя!»

Публика, топоча ногами, переговариваясь и, двигая стульями, стала расходиться, а Юрий познакомился с двумя дамами, которые сказали ему

несколько приятных слов по поводу его чтения.

Потом начали тушить огни, и в комнате стало еще темнее, чем прежде.

– Спасибо вам, – тепло сказал Шафров, пожимая руку Юрию, – если бы у нас всегда так читали!

Чтение было его делом, и потому он считал себя обязанным Юрию как бы за личное одолжение, хотя и говорил, что благодарит его за народ. Шафров выговаривал это слово твердо и уверенно.

– Мало у нас делают для народа, – говорил он с таким видом, точно посвящал Юрия в большую тайну, – а если и делают что, так кое-как... спустя рукава. Странно мне это, право: для увеселения скучающих бар нанимают дюжинами первоклассных актеров, певиц, чтецов, а для народа сядет читать вот такой чтец, как я... – Шафров с добродушной иронией махнул рукой, – и все довольны... Чего же им, мол, еще!

– Это правда, – сказала Дубова, – противно читать: целые столбцы в газетах посвящены тому, как чудно играют артисты, а тут...

– А ведь какое хорошее дело! – задушевно сказал Шафров и любовно стал собирать свои книжечки.

«Святая наивность!» – подумал Юрий, но присутствие Карсавиной и собственный успех сделали его добрым и мягким, и его даже немного умилила эта простота.

– Куда же вы теперь? – спросила Дубова, когда они вышли на улицу.

На дворе было гораздо светлее, чем в комнатах, хотя на небе уже затеплились звезды.

– Мы с Шафровым пойдем к Ратовым, – сказала Дубова, – а вы проводите Зину.

– С удовольствием, – искренно сказал Юрий. И они разошлись.

Всю дорогу до квартиры Карсавиной, которая вместе с Дубовой снимала маленький флигель в большом, но негустом саду.

Юрий и Карсавина проговорили о впечатлении, вынесенном из чтения, и Юрию все больше и больше казалось, что он сделал что-то очень большое и хорошее. У калитки Карсавина сказала:

– Зайдите к нам.

– Могу, – весело согласился Юрий.

Карсавина отворила калитку, и они вошли в маленький, заросший травой двор, за которым темнел сад.

– Идите в сад, – сказала Карсавина, смеясь, – я бы пригласила вас в комнаты, да боюсь: я дома с утра не была и не знаю, прибрано ли у нас достаточно для приема!

Она ушла во флигель, а Юрий медленно прошел в пахучий и зеленый сад. Далеко он не пошел, а остановился на дорожке и с жадным любопытством смотрел на открытые темные окна флигеля, и ему казалось, что там происходит что-то особенное, красивое и таинственное.

На крыльце показалась Карсавина, и Юрий едва узнал ее: она сняла свое черное платье и оделась в тонкую, с широким вырезом и короткими рукавами малороссийскую рубашку с синей юбкой.

– Вот и я... – сказала она, почему-то конфузливо улыбаясь.

– Вижу... – с таинственным и понятным ей выражением ответил Юрий.

Она улыбнулась и слегка отвернулась, и они пошли по дорожке между зеленых, низких кустов сирени и высокой травы.

Деревья были маленькие и больше вишневые, с крепко пахнущими клеом молодыми листьями. За садом была левада, покрытая цветами и высокой некошеной травой.

- Сядем здесь, - сказала Карсавина.

Они сели на полуразвалившийся плетень и стали смотреть на леваду, на прозрачную погасавшую зарю.

Юрий притянул к себе гибкую ветку сирени, и с нее брызнуло мелкими капельками росы.

- Хотите, я вам спою? - сказала Карсавина.

- Конечно, хочу! - ответил Юрий.

Карсавина, как и тогда на реке, выпрямила грудь, отчетливо обозначившуюся под тонкой рубашкой, и запела:

Любви роскошная звезда...

Голос ее легко, чисто и страстно звенел в вечернем воздухе. Юрий затих, едва дыша и не спуская с нее глаз. Она чувствовала его взгляд, закрывала глаза, выше подымала грудь и пела все лучше и громче. Казалось, все затихло и слушало, и Юрию припомнилась та кажущаяся, внимательная и таинственная тишина, которая воцаряется, когда поет в лесу весной соловей.

Когда она замолчала, после высокой серебристой ноты, стало как будто еще тише. Заря совсем погасла, и небо затемнело и углубилось. Чуть видно и чуть слышно заколебались листья, шевельнулась трава, и, плывя в воздухе, что-то нежное и пахучее, как вздох, налетело с левады и расплылось по саду, Карсавина блестящими в сумраке глазами оглянулась на Юрия.

- Что же вы молчите? - спросила она.

- Уж очень тут хорошо! - прошептал Юрий и опять потянул брызгающую росой ветку.

- Да, хорошо! - мечтательно отозвалась Карсавина.

– Хорошо вообще жить на свете! – прибавила она, помолчав.

В голове Юрия шевельнулось что-то привычное, неискренно грустное, но не оформилось и исчезло.

За левадой кто-то пронзительно свистнул два раза, и опять все затихло.

– Нравится вам Шафров? – неожиданно спросила Карсавина и сама засмеялась этой неожиданности.

Ревнивое чувство шевельнулось в груди Юрия, но он серьезно ответил, немного принуждая себя:

– Он – славный парень.

– С каким он увлечением отдается своему делу! Юрий промолчал.

На леваде стал подыматься легкий беловатый туман, и трава побелела от росы.

– Сыро становится, – сказала Карсавина, пожимая плечами. Юрий невольно посмотрел на ее круглые, мягкие плечи и смутился, она поймала его взгляд и тоже смутилась, но ей было приятно и весело.

– Пойдемте.

И они с сожалением пошли назад по узкой дорожке, слегка толкая друг друга. Сад опустел, потемнел, и, когда Юрий оглянулся, ему показалось, что, должно быть, теперь в саду начнется своя, никому неведомая, таинственная жизнь; между низкими деревьями, по росистой траве заходят тени, сдвинется сумрак, и заговорит тишина каким-то неслышным зеленым голосом. Он сказал об этом Карсавиной. Девушка оглянулась и долго смотрела в темный сад задумчивыми потемневшими глазами. И Юрий подумал, что если бы она вдруг сбросила одежды и нагая, белая, веселая, убежала по росистой траве в слепую, таинственную чащу, это не было бы странно, а прекрасно и естественно, и не нарушило бы, а дополнило зеленую жизнь темного сада. Юрию хотелось сказать ей и это, но он не посмел, а заговорил опять о чтениях и о народе. Но разговор не вязался и умолк, как будто они говорили совсем не то, что было нужно. Так,

молча, дошли они до калитки, улыбаясь друг другу и задевая плечами мокрые, брызгающие росой кусты. Им казалось, что все притихло и все так же задумчиво и счастливо, как они.

На дворе по-прежнему было тихо и пусто, и чернел открытыми окнами белый флигелек. Но калитка на улицу была отворена, и в комнатах слышались торопливые шаги и стук отодвигаемых ящиков комода.

– Оля пришла, – сказала Карсавина.

– Зина, это ты? – спросила ее из комнаты Дубова, и по голосу слышно было, что произошло что-то скверное.

Она вышла на крыльцо растерянная и бледная.

– Где ты пропадала... Я тебя ищу... Семенов умирает, – запыхавшись, торопливо проговорила она.

– Что? – с ужасом переспросила Карсавина и шагнула к ней.

– Да, умирает... У него кровь хлынула горлом... Анатолий Павлович говорит, что конец... В больницу его повезли... И как странно, неожиданно... сидели мы у Ратовых и пили чай, он был такой веселый, о чем-то спорил с Новиковым, а потом вдруг закашлялся, встал, пошатнулся, и кровь так и хлынула... прямо на скатерть, в блюдечко с вареньем... густая, черная!..

– Что же он... знает? – с жутким любопытством спросил Юрий, мгновенно вспоминая лунную ночь, черную тень и раздраженно-грустный, слабый голос: «Вы еще будете живы, пройдете мимо моей могилы, остановитесь по своей надобности, а я...»

– Кажется, знает, – нервно шевеля руками, ответила Дубова, – посмотрел на нас всех и спросил: «Что это?..» – а потом весь затрясся и проговорил еще: «Уже?..» Ах, как это гадко и страшно!

И все замолчали.

Уже вовсе стемнело, и хотя по-прежнему все было прозрачно и красиво, но им казалось, будто сразу стало темно и уныло.

– Ужасная штука смерть! – сказал Юрий и побледнел. Дубова вздохнула и потупилась. У Карсавиной задрожал подбородок, и она жалобно и виновато улыбнулась. У нее не могло быть такого гнетущего чувства, как у других, потому что жизнь наполняла все ее тело и не давала ей сосредоточиться на смерти. Она как-то не могла поверить и представить себе, что теперь, когда стоит такой ясный летний вечер и в ней самой все так счастливо и полно светом и радостью, может кто-нибудь страдать и умирать. Это было естественно, но ей почему-то казалось, что это дурно. И она, стыдясь своих ощущений, бессознательно старалась подавить их и вызвать другие, а потому больше всех выразила участия и испуга.

– Ах, бедный... что же он?

Карсавина хотела спросить: скоро ли он умрет, но поперхнулась этим словом и, цепляясь за Дубову, задавала бессмысленные и бесполезные вопросы.

– Анатолий Павлович сказал, что он умрет сегодня ночью или завтра утром, – глухо сказала Дубова.

Карсавина робко и тихо заговорила:

– Пойдемте к нему... или, может быть, не надо?... Я не знаю...

И у всех явился один и тот же вопрос: надо ли идти смотреть, как умирает Семенов, и хорошо или дурно это будет? И всем хотелось пойти, и было страшно увидеть, и как будто это было очень хорошо и как будто бы очень дурно.

Юрий нерешительно пожал плечами.

– Пойдемте... Там можно и не входить, а может быть...

– Может быть, он захочет кого-нибудь увидеть, – облегченно согласилась Дубова.

– Пойдем, – решительно сказала Карсавина.

– Шафров и Новиков там, – как бы оправдываясь, прибавила Дубова.

Карсавина забежала в дом за шляпой и кофточкой, и все, хмурые и грустные, пошли через город к большому трехэтажному дому, серо и плохо оштукатуренному, в котором помещалась больница, и где умирал теперь Семенов.

В коридорах, с низкими и гулкими сводами, было темно и остро пахло карболкой и йодоформом. В отделении для сумасшедших, когда они проходили мимо, кто-то сердито и скоро говорил странно напряженным голосом, но никого не было видно, и оттого стало жутко. Они пугливо оглянулись на темное квадратное окошечко. Старый и седой мужик с длинной белой бородой, похожей на нагрудник, и в длинном белом фартуке повстречался им в коридоре, шаркая большими сапогами.

– Вам кого? – спросил он, останавливаясь.

– Студента к вам привезли... Семенова... сегодня... – сказала Дубова.

– В шестой палате... пожалуйста наверх, – сказал служитель и ушел. Слышно было, как он звучно плюнул на пол и зашаркал ногой.

Наверху было светлее и чище, и потолки были без сводов. Дверь, на которой была прибита дощечка с надписью «кабинет врача», была открыта. Там горела лампа и кто-то позвякивал склянками.

Юрий заглянул туда и окликнул.

Склянки перестали звенеть, и вышел Рязанцев, как всегда свежий и веселый.

– А! – сказал он громко и весело, очевидно привыкнув к обстановке, которая давила других. – А я сегодня дежурный. Здравствуйте, барышни!

И сейчас же, высоко приподняв брови и совсем другим, грустным и значительным голосом сказал:

– Кажется, уже без памяти. Пойдемте. Там Новиков и другие.

И пока они гуськом шли по коридору, чересчур чистому и пустынному, мимо больших белых дверей с черными номерами, Рязанцев говорил:

– За священником уже послали. Удивительно, как скоро его скрутило! Я даже удивился... Впрочем, он последнее время все простужался, а это в его положении было швах!.. Вот здесь он...

Рязанцев отворил высокую белую дверь и вошел. Остальные запутались в дверях и, неловко толкаясь, прошли за ним.

Палата была большая и чистая. Четыре кровати были пусты и аккуратно прикрыты твердыми серыми одеялами с прямыми складками, почему-то напоминающими о гробах; на одной сидел маленький сморщенный старичок в халате, пугливо озирающийся и на вошедших, и на шестую кровать, на которой лежал, вытянувшись под таким же твердым одеялом, Семенов. Возле него, на стуле, сгорбившись, сидел Новиков, а у окна стояли Иванов и Шафров. Всем казалось странным и неловким в присутствии умирающего Семенова здороваться и пожимать руки, но почему-то было так же неловко и не делать этого, как будто подчеркивая близость смерти, и потому произошла заминка. Кто поздоровался, кто нет. И все остановились там, где стояли, с робким и жутким любопытством глядя на Семенова.

Семенов дышал редко и тяжело. Он был вовсе не похож на того Семенова, которого все знали. Он был и вообще мало похож на живых людей. Хотя у него были те же черты лица, что и при жизни, и те же члены тела, что и у всех людей, но казалось, что и черты лица его, и тело какие-то особенные, страшные и неподвижные. То, что оживляло и двигало так просто и понятно телами других людей, казалось, не существовало для него. Где-то, в глубине его странно неподвижного тела совершалось что-то торопливое и страшное, точно поспешая с какой-то необходимой и уже неотвратимой работой, и вся жизнь его ушла туда, как будто смотрела на эту работу и слушала с напряженным, необъяснимым вниманием.

Лампа, горевшая посреди потолка, ясно и отчетливо освещала неподвижные, не глядящие, не слышащие черты его лица.

Все стояли и, не спуская глаз, смотрели, молча, задерживая дыхание, точно боясь нарушить что-то великое, и в тишине страшно отчетливо было слышно уродливое, свистящее и трудное дыхание Семенова.

Отворилась дверь, и застучали дробные старческие шаги. Пришел маленький и толстенький священник с псаломщиком, худым и черным человеком. И с ними пришел Санин. Священник, покашливая, поздоровался с докторами и вежливо поклонился всем. Ему как-то чересчур поспешно и преувеличенно учтиво ответили все разом и опять замерли. Санин, не здороваясь, сел на окно и с любопытством стал смотреть на Семенова и на присутствующих, стараясь понять, что он и они чувствуют и думают.

Семенов дышал все так же и не шевелился.

- Без сознания? - мягко спросил священник, ни к кому не обращаясь.

- Да... - поспешно ответил Новиков.

Санин издал какой-то неопределенный звук. Священник вопросительно на него поглядел, но, не услышав ничего, отвернулся, поправил волосы, надел епитрахиль и начал тоненьким и сладким тенорком с большим выражением читать, что полагалось при смерти человека христианской религии.

У псаломщика оказался хриплый и неприятный бас, и эти два неподходящие друг к другу голоса сплетались и расходились и печально и странно в своем диссонансе зазвучали под высоким потолком.

Когда раздалось резкое и громкое причитание, все с невольным испугом оглянулись на лицо умирающего. Новикову, который был ближе всех, показалось, что веки Семенова чуть-чуть дрогнули и неглядящие глаза немного повернулись в сторону голосов. Но другим показалось, что Семенов оставался таким же странно неподвижным.

Карсавина при первых же звуках заплакала тихо и жалобно и не отирала слез, которые текли по ее молодому и красивому лицу. И все поглядели на нее, и Дубова заплакала, а мужчины почувствовали слезы на глазах и старались удержать их, стискивая зубы. Каждый раз, когда пение становилось громче, девушки плакали сильнее, а Санин морщился и досадливо двигал плечами,

думая, что, если Семенов слышит, ему должно быть невыносимо слушать это, тяжелое даже для здоровых и далеких от смерти людей, пение.

– Вы бы потише, – сердито сказал он священнику.

Священник сначала любезно наклонил ухо, но, вслушавшись, насупился и зачитал еще громче. Псаломщик строго оглянулся на Санина, и все пугливо поглядели на него, как будто он сказал что-то дурное и неприличное.

Санин с досадой махнул рукой и замолчал.

Когда все кончилось и священник завернул крест в епитрахиль, стало еще тяжелее. Семенов по-прежнему не двигался.

И вот у всех стало появляться ужасное для них, но неодолимое чувство: хотелось, чтобы все кончилось скорее и Семенов, наконец, умер. И все со стыдом и страхом старались скрыть и подавить это желание, боясь взглянуть друг на друга.

– Хоть бы уже скорее, – тихо сказал Санин. – Тяжелая штука!

– Н-да! – отозвался Иванов.

Они говорили тихо, и было очевидно, что Семенов не услышит, но все-таки другие с негодованием оглянулись на них.

Шафров хотел что-то сказать, но в это время раздался новый, невыразимо жалкий и печальный звук, заставивший всех болезненно вздрогнуть.

– И...и-и... – простонал Семенов.

И потом, как будто найдя то, что было ему нужно, он, уже не смолкая, стал тянуть этот долгий, стонущий звук, прерываемый только хриплым и трудным дыханием.

Сначала окружающие как будто не поняли, в чем дело, но сейчас же Карсавина, Дубова и Новиков заплакали. Священник медленно и торжественно стал читать

отходную. На его пухлом и добродушном лице выразилось умиление и возвышенная печаль. Прошло несколько минут. Семенов вдруг замолчал.

- Кончился... - пробормотал священник.

Но в это мгновение Семенов медленно и трудно зашевелил слипшимися губами, лицо его исказилось, как бы улыбаясь, и все услышали его глухой, невероятно слабый и страшный голос, идущий, казалось, откуда-то из самой глубины его груди, как из-под крышки гроба:

- На-астоящий ракло! - проговорил он, глядя прямо на священника.

Потом вздрогнул, открыл глаза, с выражением безумного ужаса, и вытянулся.

Все слышали его слова, но никто не пошевелился, и только выражение возвышенной печали мгновенно сбежало с запотевшего красного лица священника. Он боязливо оглянулся, но никто не смотрел на него, и только Санин улыбнулся.

Семенов опять зашевелил губами, но звука не было, и только один редкий и светлый ус его опустился. Потом он опять вытянулся и стал еще длиннее и страшнее.

И больше не было ни одного звука, ни одного движения.

Теперь никто не заплакал. Приближение смерти было страшнее и печальнее ее наступления. И всем было даже как-то странно, что это томительное, мучительное дело закончилось так скоро и так просто. Они еще постояли возле постели, глядя в мертвое заострившееся лицо, как будто ожидая еще чего-нибудь и стараясь вызвать в себе жалость и ужас, с напряженным вниманием наблюдали, как Новиков закрыл глаза и сложил руки Семенову. Потом стали уходить, сдержанно топоча ногами. В коридоре уже горели лампы, и там было все так просто и домовито, что всем вздохнулось свободнее. Впереди шел священник. Он мелко семенил ногами и, стараясь, чтобы задобрить молодежь, сказать какую-нибудь любезность, вздохнул и мягко проговорил:

– Жаль молодого человека, тем более, что он, очевидно, умер нераскаянным... Но милосердие Божие, знаете, того...

– Да... конечно! – из вежливости ответил шедший ближе других Шафров.

– У него семья? – спросил священник, ободряясь.

– Право, не знаю, – недоумевающе ответил Шафров.

Все переглянулись, и всем показалось странным и нехорошим, что никто не знает, есть ли у Семенова семья и где она.

– Сестра где-то в гимназии учится, – заметила Карсавина.

– А!.. Ну-с, до свиданья! – сказал священник, пухлыми пальцами приподнимая шляпу.

– До свиданья! – ответили все разом.

Выйдя на улицу, они облегченно вздохнули и остановились.

– Ну, куда теперь? – спросил Шафров.

Сначала все топтались в нерешительности, а потом как-то сразу стали прощаться и расходиться в разные стороны.

XI

Когда Семенов увидел кровь и почувствовал зловещую пустоту вокруг и внутри себя, когда его потом поднимали, несли и укладывали и делали за него то, что он всю жизнь делал сам, он понял, что умирает, и ему было странно, что он вовсе не испугался смерти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/arcybashev_mihail/sanin

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)